

Часть 3. ИСТОРИЯ КАК НАУКА И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Т.А. Булыгина (Ставропольский ГУ)

Научное сообщество советских гуманитариев во второй половине 1960-х – 1970-е годы

К середине 60-х гг. XX в. в СССР функционировала устойчивая система научных гуманитарных сообществ, которая была тесно связана не только с политическим, контекстом, но и с личностями руководителей страны. Так, если Н.С. Хрущев, будучи рьяным защитником советской идеологии, на практике пренебрежительно относился к гуманитариям, то во времена Л.И. Брежнева, когда духовной жизнью страны управлял «серый кардинал», официальное обществоведение существенно повысило свой социальный статус. Отказ от принципов XX съезда приобрел форму ползучего неосталинизма, что потребовало усиления общественных наук как идеологического инструмента проведения нового политического курса. Нарращивание политического консерватизма нуждалось в наукоподобном обосновании, которое и стало социальным заказом для обществоведов. Вот почему при снижении статуса официального обществоведения неформальные сообщества ученых-гуманитариев активнее работали в 1960-е гг., вдали от идеологических боев, а в 1970-е гг. условия их существования ужесточились.

С другой стороны, в 1970-е гг. качественно изменился социальный контекст истории советских научных сообществ. Именно тогда происходило окончательное перерождение искренней коммунистической веры в мимирию идейной убежденности, которая стала необходимой формой социального поведения всех слоев советского общества. Власть все активнее использовала идеологию как средство социальной стабилизации и все меньше как орудие коммунистического строительства.

Говоря о научных сообществах гуманитариев в позднесоветскую эпоху, следует иметь в виду их многообразие, которое определялось не столько профессиональными задачами, сколько контекстами времени. Хотя были и профессиональные сообщества философов, историков, социологов, психологов и пр., но по содержательным характеристикам мир советских обществоведов делился на официальную и неофициальную

науку, на академическое и вузовское сообщество, на объединения столичных и региональных гуманитариев.

Необходимо подчеркнуть, что власть стремилась ликвидировать это многообразие официальными решениями и практическими мерами. На совещаниях различного уровня говорилось о необходимости объединенных усилий вузовских и академических ученых, но эти призывы реализовывались в границах Москвы, реже Ленинграда, Новосибирска и столиц союзных республик. В партийно-государственном руководстве родилась идея консолидации сил обществоведов во всей стране, но это работало только в отношении отдельных маститых ученых советской провинции, а в целом провинциальные гуманитарии оставались за пределами научных и социальных возможностей столиц.

В конце 1960-х – начале 1980-х гг. в официальном обществоведении происходит смена векторов, заданных властью – от борьбы «с волонтаризмом и субъективизмом», до конструирования новой общности «советский человек» и общества «развитого социализма». Именно эти парадигмы определяли действия официального научного сообщества.

Официальное обществоведение без особых драм приняло новые правила игры в отличие от периода борьбы с культом личности Сталина. Однако травма раскола на «сталинистов» и «антисталинистов» осталась и влияла на творческие судьбы обществоведов. Атмосфера прежнего ритуала умолчания неудобных имен, перемена портретов и цитат опосредованно конкретизировали абстрактные обвинения в адрес исторических персонажей. Складывалась иллюзия возврата прежних контекстов. Однако язык и стиль партийно-государственных документов диктовал новые правила – лицемерие и двоемыслие, благодаря которому создавался определенный подтекст, не совпадающий с официальными идеями. Иносказания, намеки, эзопов язык не столько формировали свободную мысль, сколько развращали нравственное чувство, заражали обществоведов цинизмом. Все эти подтексты были понятны лишь узкому кругу столичной академической элиты «посвященных». Для большинства провинциальных обществоведов подразумеваемый смысл этих текстов был скрыт и воспринимался как тривиальный официоз.

Создавалась питательная среда для расцвета «заказных» ученых из сторонников сталинского режима, таких как руководитель Главного архивного управления Ф.М. Ваганов или заведующий Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС

С.П. Трапезников. Эта армия обществоведов-консерваторов готовилась совершить «прорыв» назад в сталинское прошлое. Они «втемную» или откровенно цинично выполняли заказ власти имитировать незыблемость коммунистических идей и воспитывать общество в духе имитации верности этим идеям. Рождался сценический тип отношений между властью и обществом, где режиссером был партийный аппарат, а обществоведам отводилась роль сценаристов и декораторов.

Однако период «оттепели» не прошел бесследно. Изменился сам воздух научных сообществ гуманитариев. Даже официальное сообщество гуманитариев не было однородным. В то время, когда начальники от науки «просеивали» научную продукцию сквозь идеологическое сито, запрещали публикации, клеймили «неустойчивых» коллег, отдельные гуманитарии даже на самом вершине власти продолжали верить в реформирование системы и старались своими трудами приблизить этот процесс. Примером может служить деятельность А.М. Румянцева. В эти годы в сознании многих элитных партийных обществоведов нового поколения происходили идейные сдвиги, которые реализовались, как только ослабел партийный контроль. Это и Д.А. Волкогонов, и Ю.Н. Афанасьев и А.Н. Яковлев и др., кто в предшествующие перестройке годы не отличался фрондерством.

Что касается неофициальной науки или отклонений даже в рамках официоза, то здесь работал принцип выдавливания различными способами нетипичных гуманитариев из научной среды. Тем не менее, не только идейные соображения, но и профессионализм и научная добросовестность продолжали воспроизводить эти «неправильные» сообщества.

Примером может служить научное сообщество социологов. В 1968 г. по заданию ЦК партии был создан институт конкретных социологических исследований (ИКСИ). Занятия социологическими исследованиями позволяли новому поколению обществоведов уйти из идеологизированных областей науки, войти в сферу международного научного сообщества. Не случайно более половины сотрудников института не были коммунистами. Они ощущали себя «избранными» не только по причине высокой языковой, математической и теоретической подготовленности, но и из-за прямых контактов с «самым верхом». Это проявлялось в вольности поведения, когда Н.И. Лапин мог публично назвать цитаты из классиков марксизма-ленинизма принудительным ассортиментом. В ИКСИ нашли приют политические «неблагонадежные» подписанты Ю.Н. Давыдов, Б.И. Шрагин, Р.Я. Левит. В конечном итоге из АН

СССР в ЦК пришел донос на 6 листах за 40 подписями, правда, неразборчивыми, и в 1971 г. институт был разгромлен. Поводом стал скандал с лекциями по социологии доктора философии Ю.А. Левады.

Подобные неформальные сообщества философов складывались и в других отраслях гуманитарной науки, например, вокруг журнала «Вопросы философии» и Философской энциклопедии. О таких сообществах можно говорить и в рамках «нового направления в исторической науке, и в рамках тартуской семиотической школы. Их существование также завершалось погромами. Однако в сравнении с подобными акциями 1940-х – 1950-х гг., значительная часть советской научной общественности сопротивлялась, пытаясь перевести грубую критику официальных лиц на рельсы научных дискуссий. Партийные органы должны были прикладывать немалые усилия, чтобы использовать научные коллективы для очередного погрома неугодных. К примеру, в защиту Б.В. Ракитского, А.П. Бутенко, А.Г. Милейковского, подвергнутых политической травле, вступились коллеги из Института экономики, финансово-экономического института, редакции журнала «Вопросы экономики», руководители Института экономики мировой социалистической системы. С письмами в защиту историка А.М. Некрича выступили академики Н.М. Дружинин и М.В. Нечкина, академик Н.И. Конрад, академик С.Г. Струмилин.

А.Н. Бурлаков (МПГУ, Москва)

Страноведение и история Запада: проблемы и перспективы взаимодействия

Страноведение – это комплексная учебная дисциплина и направление научного поиска, призванные изучать живую действительность страны во всем ее многообразии. По логике эта увлекательная и нужная дисциплина должна быть востребована историками, географами, филологами, дипломатами и т.д. Между тем, страноведение являет собой одну из тех учебных дисциплин, которым больше всего «не повезло» в системе отечественного гуманитарного образования.

В недавние времена *практическая направленность* страноведения Запада угрожала идеологическим мифам советской системы. Нацеленное на свободное ориентирование в иноязычной среде, страноведение в идеале было призвано дать реальную картину жизни в западных странах с их высоким

уровнем жизни, с приверженностью общественно-политическим ценностям и национальным традициям, часто несовместимыми с принципами классовой борьбы. Вот почему изначально страноведение было загнано в идеологическом отношении безопасное «прокрустово ложе» географической науки и сознательно отделено от близкой ему исторической науки.

Прорыв в теории и методологии советского страноведения совершил профессор географического факультета МГУ Н.Н. Баранский, сформулировавший в 60-е годы широкое понимание страноведения как «организационной формы объединения разносторонних знаний о той или иной определенной стране». Хотя страноведческие курсы в 1970-е-1980-е гг. были уже представлены «триадой» – «Экономической географией», «Историей и культурой», «Государственным и политическим строем» страны – предназначены они были исключительно для филологов. В эти времена страноведение Запада отличалась крайней идеологизацией и тенденциозностью. Действительность западных стран преподносилась в искажённом виде: история и культура трактовались с позиций классовой борьбы, социально-экономические достижения замалчивались, современная политическая жизнь рисовалась в негативном свете, страноведческие реалии игнорировались. Вместе с тем, несмотря на все идеологические ограничители, советское страноведение Запада сумело не только утвердиться в системе гуманитарного образования, но и получило развитие.

В наше время, когда пали идеологические запреты и расширились зарубежные контакты и сотрудничество, страноведение, казалось бы, должно пережить второе рождение. Об интересе общества к страноведческой тематике говорит издание большого числа соответствующей научно-популярной и справочной литературы. Однако в сфере образования господствуют прямо противоположные тенденции. На исторических факультетах комплексные страноведческие курсы не вводятся. В учебных планах филологических вузов объём часов, выделяемых на страноведческие курсы, постоянно сокращается. Налицо разрыв между потребностями общества и образовательного сообщества, с одной стороны, и состоянием данной учебной дисциплины в вузах страны.

В силу недостаточной методологической и теоретической разработанности страноведческого направления необходимо подробнее остановиться на его предмете и месте в ряду таких гуманитарных дисциплин, как история, а также география, экономика, культурология, правоведение, политология. Как и

означенные дисциплины, страноведение выполняет важную общеобразовательную задачу – даёт учащимся знания по истории, культуре, географии, экономике, политической системе зарубежных стран. Страноведение использует в своих целях достижения смежных гуманитарных дисциплин и обществоведческую методику преподавания.

Вместе с тем у страноведения есть и своя специфика. Если смежные гуманитарные дисциплины изучают соответствующие *аспекты* жизни той или иной страны, то страноведение отличает *цивилизационный подход*, предполагающий изучение жизнедеятельности национального сообщества во всех его проявлениях и многообразии. Для страноведа любая страна – это живой единый организм. В центре внимания страноведения находятся страноведческие *реалии* – предметы, явления, символы, порождённые национально-культурными особенностями того или иного народа и активно присутствующие в его менталитет, языке, традициях и повседневной жизни. В углублённом исследовании национально-культурных реалий состоит ещё одна отличительная черта страноведения, в то время как смежные гуманитарные дисциплины, такие, как история, много внимания уделяют выявлению общих закономерностей.

С изучением реалий связано еще одно отличие страноведения от смежных дисциплин – это его тесная связь с иностранным языком. Страноведческие реалии «зашифрованы» в языке в виде специальных терминов, понятий, аббревиатур и т.п. Так, например, в предназначенных для студентов исторических факультетов учебниках по истории зарубежных стран не встретишь страноведческих реалий и терминов. Между тем, эти реалии, носящие порой ненаучный и даже разговорно-бытовой характер, что называется, «у всех на устах» в той или иной стране: они известны каждому жителю из повседневной действительности. В общении, языке СМИ, наконец, в национальном сознании они часто дублируют, заменяют официальные термины и названия. Речь идет о парламентской, судебной и политической лексике, обусловленной национально-культурными особенностями страны.

Не только широким кругам общественности и делового мира сейчас остро нужны практические знания о западных странах. За годы существования советской системы образования и науки наши гуманитарии, прежде всего историки, занимавшиеся западными странами, утратили (не по своей вине) очень важную составляющую исследовательской работы – наблюдение

изучаемой действительности воочию (что не мешало им подчас делать выдающиеся открытия и писать интересные работы). К тому же марксистско-ленинская наука, державшаяся за догмы, уделяла много места пустому теоретизированию, заслонявшему реальную жизнь. Добавим к этому не всегда квалифицированную языковую подготовку наших специалистов. Страноведение может помочь представителям других обществоведческих дисциплин, прежде всего историкам, обогатить свой взгляд на предмет своих исследований, а, может быть, и взглянуть на него под совсем другим углом.

Потребность наших соотечественников в изучении страноведения Запада продиктована также и глубинной историко-культурной причиной: ведь речь идет о другой цивилизации. Наша страна, хотя и находилась в постоянном взаимодействии со своими западными соседями, представляет собой другой мир, имеющий иные культурные и исторические корни.

На исторических факультетах для студентов, избравших специализацию по новой и новейшей истории стран Запада, следует вводить спецкурсы страноведческой тематики. Историки должны уделить особое внимание изучению страноведческих реалий, национального характера, традиций, менталитета, особенностей восприятия собственной истории жителями той или иной страны.

Хочется верить, что страноведение в нашей стране ждет бурное развитие, а его достижения будут с успехом применены *на практике* историками, географами, правоведами, политологами, переводчиками, дипломатами, журналистами-международниками.

Л.А. Гаман (Северский технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»)

Г.П. Федотов о советской истории: эволюция представлений

Г.П. Федотов (1886–1951) – русский историк и религиозный мыслитель, внесший заметный вклад в изучение российской культуры. Оказавшись в эмиграции в 1925 г., выбрав добровольное изгнание в силу несогласия с утверждавшейся в Советской России идеологией большевизма, ученый посвятил свои силы познанию России. В корпусе работ Г.П. Федотова, так или иначе связанных с россиеведческой проблематикой, немало

внимания уделяется анализу Русской революции 1917 г. и советского этапа российской истории, который справедливо рассматривался им как звено единого российского исторического процесса. Постулирование преемственности развития России, независимо от внешнего разрыва исторической ткани, стало важным методологическим принципом Г.П. Федотова, позволившим ему сделать немало ценных выводов о своеобразии российского исторического процесса, об особенностях российского менталитета. Иллюстрацией могут послужить размышления ученого о специфике сознания российской интеллигенции. «С... русской интеллигенцией – писал Г.П. Федотов, – пробилось наружу глубокое народное наследие русского кенотического христианства. Но вместе с его пороками и недостатками». Мыслитель полагал, что в рамках кенотического христианства трагическим образом не сформировалось ценности свободы. «Нечувствие к свободе и к миру культурных гуманистических ценностей, – продолжал он, – составляет оборотную сторону русского религиозного наследия» [Федотов Г.П. Потерянный писатель А.И. Герцен (1812–1870) // Федотов Г.П. Полн. собр. соч. В 6 т. Paris, 1988. Т. IV. С. 115]. С этим обстоятельством Г.П. Федотов связывал многие социальные деформации как в предреволюционной – «канунной», – так и в пореволюционной России.

Предваряя дальнейшее изложение, подчеркнем, что в эмиграции Г.П. Федотов позиционировал себя как сторонника «пореволюционного сознания», носители и популяризаторы которого (Н.А. Бердяев, Ф.А. Степун и др.) заявляли о своем приятии свершившийся в России революции и о необходимости считаться с данным фактом, независимо от своего отношения к установившейся в стране политической власти. Реставрационные настроения представлялись Г.П. Федотову бесперспективными, что он образно выразил в следующей формуле: «попытки пересудов уже свершившегося Божия суда» [Федотов Г.П. И есть, и будет // Федотов, Г.П. Собр. соч. В 12 т. М, 2011. Т.V. С. 6]. Такая установка позволяла видеть как негативные, так и позитивные стороны происходивших в Советской России трансформаций. Среди факторов, вызывавших особое негодование Г.П. Федотова, укажем на широкое распространение имморализма в Советской России [Федотов Г.П. Потерянный писатель А.И. Герцен... С. 19], низкий уровень жизни советского народа и формирование нового социального неравенства, советский конформизм [Там же. С. 71, 73], милитаризацию сознания. Однако в 1920-х – начале 1930-х гг. многочисленные

изъяны советской системы не представлялись ученому непреодолимыми. Наличие целого ряда факторов позволяло ему надеяться на постепенное преодоление негативных сторон советского строительства. Отметим наиболее важные из них. Это «пробуждение положительных народных сил» [Федотов, Г.П. Собр. соч. В 12 т. Т. V. С. 75], начавшееся после революции. Это зарождение «нового советского патриотизма», что Г.П. Федотов рассматривал в качестве «единственного шанса на бытие России» [Федотов Г.П. Потерянный писатель А.И. Герцен... С. 14]. О положительных процессах в Советской России свидетельствовали также зарождение элементов гуманизма [Там же. С. 86] и рост образовательного и культурного уровня широких масс народа [Там же. С. 47].

Однако по мере укрепления сталинского тоталитаризма в СССР – «сталинокрапии» в терминологии ученого, – негативные оценки начинают заметно преобладать. Одним из первых ученых обратил внимание на качественное перерождение советского государства. «Власть Сталина менее всего советская», – констатировал он в 1938 г. [Там же. С. 213]. Масштабность не только явных, но и имплицитных структурных изменений в Советской России в 1930–1940-е гг., завуалированных марксистско-ленинской риторикой, привела Г.П. Федотова к выводу о контрреволюции в стране, совершенной Сталиным в интересах укрепления своей собственной власти. «Один человек – против всей страны. Никогда еще ситуация в России не была столь отчаянно определенной», – писал ученый в 1938 г. [Там же. С. 191]. В многочисленных статьях данного периода Г.П. Федотов квалифицирует сложившуюся в Советской России систему как «фашистскую». Это свое представление он сохранил и в американский период творчества (1942–1951).

Репрессивная политика Сталина, его антикрестьянская политика и форсированная индустриализация вели к формированию социальной реальности, мало способствующей становлению справедливого общества. Г.П. Федотов не ограничился констатацией «срыва» сталинской модернизации. В рамках предпринятого им историко-философского анализа этой последней, он указал на трагическое сочетание в практике советского строительства неслыханного насилия над русским народом и энтузиазма, подпитывавшегося, в частности, привлекательностью технического идеала капитализма, воплотившегося в мечте «Россия – Америка». Причем, насилие не связывалась учёным исключительно с деятельностью репрессивной машины в СССР. Ее составной частью в

концепции Г.П. Федотова являлась проблема допущения русским народом подобного насилия над собой. Это стало возможным, полагал он, в результате сложного взаимодействия целого комплекса социально-психологических факторов, начиная от «вековой привычки к повиновению», и заканчивая рядом особенностей русского религиозного сознания.

Нападение фашистской Германии на СССР, как известно, было неоднозначно воспринято различными кругами российской эмиграции. Г.П. Федотов являлся противником коллаборационистских настроений. Систематическое внимание к театру военных действий некоторое время наполняло Г.П. Федотова гордостью за свою родину. «Русские армии, – писал он в 1943 г., – еще обороняют родину... Мир полон признательности пред Россией и готов вознаградить понесённые ею жертвы. Сейчас ей могла бы выпасть на долю завидная роль – освободительницы и устроительницы мира» [Федотов Г.П. SOS // Федотов Г.П. Собр. соч. В 12 т. М., 2004. Т. 93, С. 95]. Однако внимательное отслеживание политических позиций лидеров воюющих государств привело Г.П. Федотова к выводу об изменении освободительного характера войны со стороны СССР по мере продвижения советской армии за пределы собственных рубежей. Постепенно у него сформировалось представление о войне как столкновении двух диктаторских режимов, стремящихся к мировому господству. Эту свою точку зрения Г.П. Федотов артикулировал задолго до прочного утверждения в зарубежной историографии концепции тоталитаризма, как ведущей объяснительной модели советской истории, возможно, выступив одним из ее предшественников.

Таким образом, представления о советской истории Г.П. Федотова не оставались неизменными в эмигрантский период творчества. В его размышлениях о Советской России сочетается объективная критика негативных её сторон с позитивными оценками ряда явлений. Такой опыт прочтения советской истории может способствовать становлению более взвешенных подходов к этому одному из наиболее сложных и мифологизированных периодов российской истории.

И.Л. Григорьева (Новгородский ГУ)

**Исторические труды в библиотеках Новгородских владык
XVIII века**

Уже С.Л. Пештич в своем фундаментальном труде «Русская историография XVIII века» [Л., 1961. Ч. 1. С. 58] обратил внимание на значение «церковного сословия» в деле распространения в России исторических произведений, связанных с европейской культурной традицией. А.К. Гаврилов [О филологах и филологии. СПб., 2011. С.14-15] происхождение западничества на Руси связывает с «притязаниями русских на византийское наследство», «что содействовало русской склонности к идеократическому, а не функциональному взгляду на роль государства». Усиление этой тенденции падает на время юго-западного культурного влияния, шедшего через Украину и Белоруссию. В инициированной российским правительством «культурной легитимации» европеизма «импортерами» зарубежных идей выступали, как правило, православные церковные иерархи малороссийского происхождения. В этой связи примечательна роль Новгорода, в бытность его своеобразной «церковной столицей». Возникшие здесь учебные заведения – школа братьев Лихудов и Новгородская духовная семинария – обладали, в частности, богатейшими книжными собраниями, включавшими многочисленные «культурные продукты» западной цивилизации.

После смерти патриарха Адриана в 1700 г. по воле царя Церковь возглавил «экзарх и блюститель» патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский). Однако он был недружелюбно встречен как в Москве, так и на Христианском Востоке, потеряв со временем и царское расположение. Зато особое значение приобрел пользовавшийся доверием Петра Новгородский митрополит Иов (1697–1716): когда в ходе Северной войны русская армия «прорубила окно» в Европу, все большую роль стали играть отнесенные к Новгородской епархии новозавоеванные земли и города.

В 1708 г. царь обратил внимание на «выдвиженца» митрополита Иова Феодосия (Яновского). Заняв Новгородскую кафедру, Феодосий возглавил церковную иерархию. При учреждении Св. Синода в 1721 г. он стал первым синодальным вице-президентом, фактически, вместе с Феофаном (Прокоповичем), возглавив духовную коллегия. Падение Феодосия обеспечило Новгородскую кафедру Феофану (Прокоповичу) (1725–1736), первенствующему члену Св. Синода. Вслед за Феофаном «первоприсутствующими» в Св. Синоде были архиепископы Новгородские Амвросий (Юшкевич) (1740–1745) и Стефан (Калиновский) (1745–1753). Митрополит Новгородский и Великолукский Димитрий (Сеченов) (1757–

1767), первенствующая духовная особа при Екатерине II, короновал императрицу и был ее постоянным советником в духовных делах. В 1762 г. он освящал воздвигнутый по проекту Б.Ф. Растрелли Зимний дворец. В 1759 г. Владыка Димитрий заложил для библиотеки Новгородской духовной семинарии отдельную каменную палату – одно из первых в России зданий, специально построенных для библиотек. В 1765 г. он добился для Новгородской семинарии самого большого финансирования. С митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила (Петрова) (1770–1799) начался порядок совмещения Новгородской и Санкт-Петербургской церковных кафедр, что стало залогом утраты Новгородом прежней роли в церковных делах.

Основатель Новгородской духовной семинарии архиепископ Амвросий (Юшкевич) после учебы в католических польских школах окончил Киевскую духовную академию. По его инициативе в 1740 г. императрица Анна Иоанновна утвердила «Штат о содержании Новгородского Архиерейского дома», в котором имелся особый раздел «О семинарии». На ее штатный оклад была ассигнована сумма, намного превосходившая денежное содержание других духовных учебных заведений. Документ также требовал обеспечить семинарию «довольною библиотекой» [См.: Григорьева И.Л., Салоников Н.В. История библиотеки Новгородской духовной семинарии // Вестник Новгородского государственного университета. Сер.: Педагогика. Психология. 2009. № 53. С. 16-19]. В 1742 г. в ответ на просьбу Амвросия, по распоряжению Св. Синода и по Высочайшему Указу императрицы Елизаветы Петровны, Новгородской семинарии была передана библиотека Феофана (Прокоповича). И собственное богатое книжное собрание Владыка завещал любимому детищу. Преемник архиепископа Амвросия на Новгородской кафедре архиепископ Стефан (Калиновский) также учился в Киевской духовной академии. В 1735 г. он возглавил комиссию, продолжившую работу по изданию нового перевода славянской Библии. Приняв Новгородскую кафедру, он много сделал для завершения организационной работы в семинарии. После смерти архиерея учебному заведению была передана его громадная библиотека. Затем Новгородскую епархию возглавил митрополит Димитрий (Сеченов) (1757–1767), один из немногих церковных иерархов великорусского происхождения в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Он получил образование в Московской Славяно-греко-латинской академии. В 1765 г. при введении новых штатов митрополит добился, чтобы

Новгородской духовной семинарии был назначен самый большой оклад. Благодаря его усилиям семинарская библиотека значительно пополнилась. Впоследствии в нее вошло и существенное книжное собрание Владыки Димитрия.

Книжные собрания новгородских архиереев содержали множество исторических трудов. Уже митрополит Иов располагал переводами сочинений по истории, сделанными по указанию царя: «О деяниях, содеянных Александра Македонского» Квинта Курция Руфа, «О разорении Трои» и др. Наибольшее же количество книг по истории имелось в библиотеке Феофана (Прокоповича), совмещавшего в себе, по замечанию Г.А. Гуковского, «черты ученого-гуманиста эпохи Возрождения с просветительскими стремлениями европейской мысли его времени». Феофан был не только государственным деятелем и законодателем, но и одним из первых русских ученых-историков. Эта дисциплина была представлена в его библиотеке, насчитывавшей около 4000 томов, многочисленными изданиями: трудами античных авторов, сочинениями о греческих и римских древностях, по истории отдельных стран и истории Церкви, памятниками политической мысли [См.: Салоников Н.В. Библиотека Новгородской духовной семинарии: состав и история формирования. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Великий Новгород, 2004. С. 25].

В книжном собрании Амвросия (Юшкевича), насчитывавшем около 600 томов, были разнообразно представлены византийские авторы: Никита Хониат, Прокопий Кесарийский, Георгий Синкелл, Феофилакт Симокатта, Георгий Пахимер, Иоанн Зонара, Георгий Куропалат, Михаил Глика, Лаоник Халкокондил, Никифор Григора, Иоанн Кантакузин, патриарх Фотий. В нем имелись также сочинения Корнелия Непота, Анастасия Библиотекаря, Полидора Вергилия, Иоанна Целлариуса, Иоанна Слейдана. Библиотека Стефана (Калиновского) включала 866 томов, среди которых — Геродот, Корнелий Непот, Цезарь, Веллей Патеркул, Плутарх, Квинт Курций Руф, Саллюстий, Иосиф Флавий, Евсевий Памфил, Созомен, Сократ Схоластик, Феодорит Кирский, Павел Йовий, Иоганн Слейдан, Полидор Вергилий, Цезарь Бароний, Христофор Целлариус. Насчитывавшая 474 тома библиотека учившегося в Москве великоросса Димитрия (Сеченова) также включала исторические труды (по истории Древней Церкви, сочинения византийских авторов и др.), однако это книжное собрание отличал известный консерватизм. [См.: ГАНУ. Ф. 384. Оп. 1. Д. 2. Л. 204-263].

В.Н. Ерохин (Нижевартовский государственный гуманитарный университет)

Исторические знания в дискуссиях о британской идентичности в современной Великобритании

В современной Великобритании активно разворачивается спор о будущем британского государства и о том, что значит быть британцем, что такое «британство». В спорах о «британстве» активно участвуют историки.

С середины 2000-х г. усилилась критика идеи мультикультурализма. Политики из консервативной и либерально-демократической партий заявляют, что мультикультурализм – плохое руководство для проведения повседневной политики, поскольку в нем недооценивается сложный характер различных этнических групп. Хотя в мультикультурализме есть позитивные аспекты, выражающиеся в том, что он призывает к уважительному отношению к другим верам, традициям различных этнических групп, в то же время мультикультурализм фиксирует, превращает в стереотипы существующие культурные различия, которые, может быть, и не оставались бы такими прочными, если на них не фиксироваться. Мультикультурализм в политической жизни провоцирует опасную и ошибочную практику. Из-за того, что отдельные этнические сообщества в Великобритании начинают восприниматься как совокупности определенного количества голосов избирателей, политикам приходится с почитательностью относиться к лидерам этнических сообществ, даже не имеющим серьезного влияния и порой нерепрезентативно выражающим мнение той культурно-этнической общности, от имени которой они выступают. Среди консерваторов и либерал-демократов распространяется взгляд, согласно которому к этническим сообществам надо подходить как к сообществам, состоящим из личностей, взгляды которых не полностью и не во всем предопределены только их культурно-этническим происхождением. На такой основе могут быть созданы предпосылки к формированию толерантной британской национальной идентичности, основывающейся на множественности идентичностей, которые могут быть национальными, этническими, географическими, религиозными, но должны быть прочно приверженными идее соблюдения прав человека, законности и порядка.

В 2005 г. председатель государственной Комиссии по равенству и правам человека Тревор Филипс в интервью журналу «Джуиш квотерли» заявил, что признает факт существования мультикультурного общества как данность, но ему не нравится идея, когда «людей инвентаризируют и раскладывают по коробкам», что не только разделяет людей, но и тем самым провоцирует мысль, что к людям надо относиться по-разному. По словам Т. Филипса, люди действительно отличаются друг от друга, но, если люди живут в обществе, у них в сознании должна утвердиться мысль, что в определенных ключевых сферах жизни все они должны действовать в соответствии с общими, согласованными в этом обществе правилами.

Джон Ллойд, журналист из «Файнэншл таймс», считает, что «нам необходимо понятие британства, которое могли бы признать ясным и здравым те, кто является коренными жителями острова, учитывая, чтобы такое понимание британства также было и достаточно открытым для иммигрантов, прибывших на Британские острова и согласных приспособиться к сложившимся здесь ранее нормам». Обсуждение этих проблем не надо тормозить, надо говорить об этом искренне, но, не преклоняясь чрезмерно перед чувствительностью некоторых групп населения, как поступают некоторые участники этих дискуссий, руководствующиеся, в первую очередь, нормами политкорректности.

Министр образования в правительстве Дэвида Кэмерона Майкл Гоув заявил в августе 2011 г., что в преподавании истории в школах необходимо отметить выдающуюся роль Британских островов в мировой истории и оценивать Британию как образец свободного общества, которому должны подражать другие страны. Правые политики фактически придерживаются мнения, согласно которому быть британцем означает быть наследником великой и славной культуры с громадными достижениями практически во всех областях человеческой деятельности. У этого британского наследия практически нет равных, с этим наследием точно не могут равняться представители тех народов – выходцев из азиатских, африканских стран и Карибского бассейна, которые недавно поселились на Британских островах и теперь притязают на то, что Великобритания – их страна. Правые фактически придерживаются мнения, что, если в современном мире уделяется большое внимание сохранению дикой природы и животного мира, умственно и сохранение у населения Британских островов того генофонда, который обеспечил достижения Великобритании в прошлом, для будущего. Со стороны

выразителей мнений этнических и расовых меньшинств звучат утверждения, что современные консерваторы и правительство Дэвида Кэмерона в понимании и изучении истории выступает за «белый, евроцентричный исторический нарратив с навязанной хронологией».

Майкл Гоув на основе анализа учебных программ заявил, что в преподавании истории и географии акцент должен быть сделан на изучении фактов, поскольку это дает сущностное знание, необходимое школьникам. Изучение истории и иностранных языков также должно сформировать у учеников способность к размышлениям, рефлексии, и он считает, что гуманитарное образование может сформировать креативную личность. Гоув высказался также за то, чтобы в национальном стандарте для изучения истории в школах было упомянуто больше важных, ключевых имен из британской истории. Сейчас же сложилась ситуация, когда в национальном стандарте, который устанавливает только самые общие рамки содержания изучаемого предмета для 11-13-летних учеников, история пока еще обязательна в школе; по именам упоминают только двух известных борцов за отмену рабства Уильяма Уилберфорса (1759–1833) и оказавшегося в Великобритании выходца из Западной Африки Олаудаха Эквиано (1745–1797). Эти персонажи и их деятельность приемлемы для цветного населения Британских островов.

Большое место в 2007 г. британские власти уделили празднованию 200-летия отмены трансатлантической работорговли. Школьники также еще обычно слышат упоминания о Мартине Лютере Кинге, но при этом ученикам зачастую не рассказывают, кто такой первоначальный Мартин Лютер. Хотя в реальном преподавании истории в школах учителя имеют право составлять свою программу на основе национального стандарта и пользоваться выбранными в данной школе многочисленными в Великобритании учебниками истории, в результате чего ученики фактически слышат больше имен видных деятелей британской истории – не два имени, Майкл Гоув считает ненормальным, что в национальном стандарте по истории упоминания конкретных имен крайне минимизировано, что приводит к различиям между школами в конкретном содержании преподавания. Англия – единственная страна в Европе, где изучение истории не обязательно для учеников старше 14 лет, на чем для многих и заканчивается изучение этого предмета.

К 2013–2014 гг. планируется пересмотр школьной программы по истории. К этой работе привлечен известный историк Саймон Шама, работающий в Колумбийском университете в Нью-Йорке. На британском телевидении С. Шама ведет снискавший большую популярность цикл передач «История Британии», в результате чего и сам Шама приобрел много поклонников, в числе которых оказался также министр образования Майкл Гоув. С. Шама в публичных выступлениях, говоря о положении с преподаванием истории в школе, обращает внимание и на то, что «школьным учителям ужасно недоплачивают и плохо их материально обеспечивают». С. Шама высказывается за то, чтобы уделять наибольшее внимание нарративной истории Британских островов. Он призывает преподавать историю как долговременный кумулятивный процесс, а не набор наскоков на отдельные периоды британской истории.

О.В. Золотарёв (Коми государственный пединститут, Сыктывкар)

О некоторых проблемах исторического образования в современной России

Проблемы, связанные с положением исторического образования, всегда оживленно обсуждались как учеными-гуманитариями, так и общественностью. Даже в новейшей истории нашей страны мы были свидетелями острейших дебатов по этим вопросам: начиная с 1930-х гг., когда на самых верхах власти принималось решение о содержании школьного учебника по истории и заканчивая созданием в мае 2009 г. Комиссии по противодействию фальсификации истории.

Естественно историческое образование – это весьма специфическая форма использования исторического знания. Ее всегда отличали значительное политическое воздействие и жесткий правительственный контроль. И это объяснимо – через восприятие школьниками прошлого своей страны происходит формирование определенных социальных норм, морали, которые на данный момент преобладают в обществе или которые стремятся привить обществу. Через отечественную историю происходит и национальная идентификация подрастающего поколения. Недаром С.Кара-Мурза подчеркивал: «Школа – главный государственный институт, который «создает» гражданина и воспроизводит общество. Это – консервативный

«генетический аппарат» культуры» [См.: Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Кн.1. От начала до великой победы. М., 2002. С. 171].

С этим вопросом напрямую связана и важнейшая проблема современной российской школы - проблема воспитания. Ныне она – одна из самых актуальных. Ведь в последние годы под видом «деидеологизации» школы была отброшена система ценностей, которая была характерна не столько для советского человека, сколько для российского гражданина.

Данные рассуждения полностью отвечают и посылам преподавания отечественной истории в высшем образовании. А ведь без истории высшая школа немыслима, Ф. Ницше в этой связи говорил: «всякое высшее воспитание должно быть историческим» [Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С. 279]. Но достижение этой цели в современной России все более усложняется, ибо нравственная общественная обстановка в настоящий момент чрезвычайно размыта той атмосферой, что вырабатывается деятельностью средств массовой информации, особенно телевидением. Поэтому школа и вуз, в том числе в плане исторических знаний, обязаны исполнить роль своеобразного защитника сознания, воспитания личности.

Специфика преподавания отечественной истории в вузе состоит еще и в том, что целью исторического образования на непрофильных факультетах высших учебных заведений является поиск особенностей развития нашей страны, анализ исторических корней сегодняшней действительности. Это непросто, как в силу отсутствия единства методологических взглядов в сегодняшней отечественной исторической науке, так и вследствие понятных психологических сложностей.

В значительной степени преподаванию истории в вузе мешает чрезвычайно слабый уровень исторических знаний нынешних выпускников школ. Сосредоточившись на подготовке к успешной сдаче Единого госэкзамена школа, закладывает порочный, на наш взгляд, базис исторических знаний (отрывочных и в основном фактологических), от которого и вынужден в дальнейшем отталкиваться преподаватель вуза. И в вузе приходится практически с нуля формировать те исследовательские навыки, основы которых ранее создавались школьным курсом истории. Такая ситуация в еще большей степени нарушает преемственность вузовского и школьного образования и ставит под сомнение качество вузовской подготовки.

В настоящий момент в первую очередь важно обеспечить совершенствование содержания исторического образования. Необходимо перекинуть мостик от описания отдельных исторических событий к обобщению, к пониманию основных тенденций развития общества. Только тогда появляется возможность знакомить учащихся с особенностями экономического, социального, политического и духовного развития России.

Но здесь надо помнить, что преподаватели гуманитарных кафедр вынуждены опираться на государственные стандарты, предназначенные для исторических факультетов вузов. Подобное положение представляется порочным. Ибо, как количество отводимых на изучение исторических дисциплин часов в данном случае весьма разнится, так и цели у исторического образования здесь разные.

Еще одна проблема связана с разработкой учебных пособий по истории, прежде всего школьных. Советские учебники создавались учеными-профессионалами, они были написаны весьма живо и интересно. Конечно, их слабым местом был классовый подход, который значительно обеднял их содержание. Но в последнее время школьные учебники вызывают массу нареканий. На съезде учителей истории и обществознания (весной 2011 г. было отмечено, что педагогов-практиков не устраивает большинство современных учебных пособий по истории, особенно много претензий к учебникам по XX веку.

Конечно, надо помнить, что нельзя отказываться от вариативности преподавания истории и наличия нескольких учебников. Но их должно быть не десятки, а три-четыре. Главное в школьном учебнике – он должен основываться на фактах и разделяемых обществом оценках и интерпретациях прошлого [Российская газета. 2011. 31 марта].

Много вопросов и к вузовским учебникам по отечественной истории.

Создавшееся в области подготовки учебных пособий по истории ситуация лишней раз засвидетельствовала ту пропасть, что существует между популярной и кабинетной историями, а фактически отчуждение одной от другой. Это – прямое следствие узурпации профессиональной сферы исторического знания дилетантами и очередного подчинения исторической науки новым идеологическим установкам.

Конечно, каждое поколение людей создает свою версию исторических событий, которая в большей степени соответствует тем запросам и проблемам, что волнуют поколение. Ведь

история, по меткому замечанию К. Леви-Стросса «никогда не является историей чего-то, но всегда история для чего-то» [Цит. по: Тишков В.А. Новая историческая культура // Новая и новейшая история. 2011. № 2. С. 6]. Новое поколение иначе представляет себе прошлое нашей страны и иначе к нему относится. Это результат той исторической политики, что проводилась властями на протяжении последних двух десятилетий. Что лишний раз позволяет говорить об исторической политике как о «важной и признанной форме общественного сознания, как об одной из характеристик новой исторической культуры». Вместе с тем, историческое наследие все чаще воспринимается обществом как определенная «мифическая версия прошлого», необходимая для чувства идентичности. Именно эта версия весьма важна для воспитания гражданина. А если исходить из подобных посылок, то школьная история и должна представлять собой версию исторического наследия [Там же. С.11, 16].

В заключение надо отметить и еще одно – многие недостатки настоящей системы российского исторического образования, на наш взгляд, проистекают из тенденции, которая в последнее время преобладает в отечественной школе: целью образования все более является не развитие личности, а подготовка «квалифицированного потребителя».

И последнее – причина негодности многих новаций в том, что они даются в виде указаний сверху и нередко представляют собой бездумное заимствование чужого опыта. Поэтому на практике эти рекомендации, не учитывающие российских реалий, не работают. Инициатива изменений должна идти снизу, изнутри, от самих преподавателей. В этом залог успеха.

О.И. Ивонина (Новосибирский ГПУ)

С.М. Соловьев о закономерностях всеобщей истории

Интерес к проблематике всеобщей истории, проявившийся в годы учебы С.М. Соловьева в Московском университете под влиянием Т.Н. Грановского, усилился в ходе европейской стажировки молодого ученого, сделавшей его поклонником идей Гегеля и французских романтиков. Влияние на Соловьева основных течений западной философии истории способствовало его углубленной рефлексии над проблемами универсальности

субъекта истории и специфики исторического прогресса, нашедшей отражение в «Феософическом взгляде на историю России» (1841 г.), «Исторических письмах» (1858 г.), «Наблюдениях над исторической жизнью народов» (1868 г.) и других произведениях автора.

Будучи сторонником идеалистического подхода к пониманию истории, Соловьев считал событийную историю манифестацией идей, производных от типа духовности и религиозного опыта, определяющих характер развития различных исторических субъектов в лице народов, наций, государств и цивилизаций. Понимание ученым многомерной природы исторического факта как *со-бытия* человека и Бога в различных временных масштабах, творческого диалога, отражающего своеобразие различных эпох и всеобщую ценность исторического опыта разных народов на пути к вечным идеалам добра и справедливости, предопределило либерально-гуманистический характер мировоззренческого кредо Соловьева-историка.

Своеобразие исторического развития любого народа определяется, по мнению Соловьева, *спецификой природно-географической среды обитания, этнической доминанты и «исторического воспитания»* [Соловьев С.М. Сочинения. СПб., 1882]. Внешние детерминанты «исторического взросления» народа Соловьев называл «историческим воспитанием», подразделяя их на две группы: а) факторы природного, естественного происхождения б) факторы исторического, социального происхождения, проявляющиеся в межкультурном взаимодействии.

Одним из законов всемирной истории Соловьев считал переход от *естественных* к *искусственным* формам социально-политического развития разных стран и народов, отражающий смену их «исторических возрастов». На раннем этапе своего развития народ руководствуется в делах и мыслях глубоким религиозным чувством, воодушевлен непосредственной «детской» верой. По мере взросления исторического субъекта религиозный пафос угасает, уступая место господству «критического разума» во всех сферах общественной жизни. Историк полагал «возраст чувств» временем юности народа, когда общество развивается благодаря альтруизму его граждан, приносящих частные интересы в жертву общему делу «громадной творческой работы». Во второй фазе критическая рефлексия разрушает, по мнению Соловьева, непосредственное отношение к жизни, вытесняя бессознательное творчество

стремлением проверить на практике то, во что прежде верилось, поставить под вопрос прежние истины, пошатнуть то, что считалось до сих пор непоколебимым.

Особенностям исторического возраста народа соответствует его представление о своем месте в мире, задающее характер межкультурных коммуникаций. В период «господства чувств» любое общество, по мнению историка, отличается консерватизмом, стремлением к мировоззренческой герметичности и даже ксенофобией, поскольку «чувство считает известные предметы священными и неприкосновенными... оно определяет отношение к своему и чужому таким образом, что свое имеет право на постоянное предпочтение перед чужим» [Там же. С. 434]. Кризис общества, переживающего «период господства мысли», напротив, содействует расширению его межкультурных связей. Утратившие собственные идеалы и ценности, индивиды пытаются заимствовать средства самоидентификации у других сообществ, ксенофобия сменяется космополитизмом. Господство разума уничтожает различие «своего» и «чужого», «выводя народ в широкую сферу наблюдений над множеством явлений в разных странах, у разных народов, в широкую сферу сравнений, соображений и выводов» [Там же. С. 435].

Раннему периоду исторической жизни народа соответствует, по мнению историка, *естественная*, родовая организация общества, характерная для народов Востока и архаической (гомеровской) Греции. Переход древних народов к созданию искусственных форм социально-политического единства (в форме дружины, гражданского союза, централизованного государства) осуществлялся, по мнению историка, в местах плотных миграционных потоков. Активными мигрантами Древности Соловьев считал представителей арийского племени, конфронтация которого с автохтонным населением Средиземноморья обусловила последующее развитие Запада как особой культурно-территориальной общности вплоть до эпохи буржуазных революций XVIII–XIX вв.

Историческая динамика Запада описывается Соловьевым как последовательная эстафета искусственных форм социально-политической жизни: аристократии, демократии, монархии. Конфликт патрициев и плебеев Древнего Рима приобрел, по мнению историка, форму борьбы за права, превратив юридикзм западного общества в его важнейшую социокультурную и идейно-политическую характеристику. Исторически развитой формой искусственного человеческого союза Соловьев считал

правовое государство, основанное уже не на завоевании, а на принципе солидарности, гражданского равноправия и социальной справедливости объединенных в нем людей.

Рассуждения Соловьева о прогрессе всемирной истории, впервые обозначенные в «Исторических письмах», сходны с идеями О. Конта, Г. Спенсера и Т. Бокля. Русский историк разделял общее всем либеральным мыслителям понимание развитого общества как системы детального разделения труда, которое делает каждого индивида значимым для жизни общества в силу уникальности выполняемой им функции. Признаком прогресса для Соловьева является как появление человеческой *индивидуальности*, ценной для общественного целого ввиду ее незаменимости и уникальности в производственном процессе, так и рост общественной *солидарности* в результате осознания взаимозависимости индивидов, выделившихся из недифференцированной массы [Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 181].

Представление мыслителя о христианстве как религии свободы и прогресса, определившей единство аксиологического и хронологического вектора развития христианских народов, объясняет понимание Соловьевым универсального субъекта исторического прогресса в лице единой Европы. Первоначально христианство санкционировало суверенитет государства как публично-правового единства, противостоящего анархии частных союзов эпохи феодализма, а затем объединило романо-германские народы в единую культурную общность. В период Нового времени, названный Соловьевым «эпохой гуманизета», Европа становится уже идеалом всемирного единства и солидарности народов.

Таким образом, именно на материале западноевропейской истории С.М. Соловьеву удалось показать значение обнаруженных им закономерностей исторического процесса: перемещения центра мировой истории с Востока на Запад, отразившего маршрут арийской миграции; перехода народов от патриархальных деспотий к ранним (дружина, феодальная корпорация) и зрелым (централизованные империи) формам государственности; общественного разделения труда, способствовавшего тесному взаимодействию и взаимозависимости народов в период Нового времени, который автор считал эпохой подлинно всеобщей истории.

Г.Н. Канинская (Ярославский ГУ им. П.Г. Демидова)

Французская историческая наука в глобализирующемся мире:

традиции, проблемы, перспективы

1. Не будет преувеличением сказать, что французская историография если не доминировала в мировой истории, то являлась одним из ее «становых хребтов». Справедливо также и то, что она по-прежнему не утратила своего престижа в глобализирующемся историческом пространстве. Французская историческая школа была и остается весьма плодотворной и богатой на знаменитые имена.

2. Не является секретом и то, что отечественным историкам всегда была присуща «особая чувствительность» по отношению к французской исторической школе и ее мэтрам. В нашей стране сложилась плеяда именитых франковедов, которые, печатаясь в различного рода изданиях, неизменно останавливались на их французской составляющей.

3. В связи с тем, что, начиная с последней четверти XX в., исторические дискуссии стали в значительной мере интернациональными и появилась возможность свободного обращения идей и книг, российский читатель может самостоятельно ознакомиться с творчеством выдающихся французских мыслителей в области истории благодаря переводам их сочинений на русский язык.

4. В то же время небезынтересно, осмыслив суждения французских историков о том, как влияет на их национальную историческую науку стремительно развивающаяся универсализация исторического знания, подумать, какой посыл этот процесс может передать российской исторической науке.

5. Происходящая в мире «социокультурная глобализация» сблизила больше, чем когда бы то ни было прежде, национальные исторические школы. Это прекрасно видно на международных конференциях, во время которых со всей очевидностью проявляются схожесть и совместимость историографических подходов. К тому же стоит подчеркнуть в качестве характерного симптома то, что отныне каждой национальной историографии свойственно признавать такое понятие, как «мировая история». В то же время правомерным остается и тот факт, что любая национальная историография есть продукт собственных традиций и исторического наследия. А это, по крайней мере на сегодня, позволяет утверждать, что национальные историографии сохраняют свои особенности. Более того, нельзя забывать о том, что в разных исторических школах в некоторые понятия не всегда вкладывается одинаковый смысл, что подчас вызывает сильные историографические разночтения.

6. За тридцать последних лет французская историография сильно изменилась. В первой половине 70-х гг. XX века еще широко доминировала социальная история, а в ее рамках развивалась так называемая «ментальная история». Сегодняшний историографический пейзаж предстает глубоко изменившимся. Если говорить о произошедшей эволюции в самых общих чертах, то следует упомянуть о ее двух главных проявлениях. Во-первых, возродилась политическая история, а во-вторых, развилась культурная история. Размах метаморфоз, происшедших во французском обществе за годы «Решающего двадцатилетия», 1965-1985-е, был настолько велик, что исторический отрезок времени, существовавший до них, можно назвать «миром, который мы утратили», и к его анализу уже вполне применим историко-антропологический метод.

7. Еще одним методом, позволяющим дополнить новыми сведениями наше знание об исследовательском поле современной французской историографии, могут послужить интервью, полученные непосредственно от самих «творцов» французской исторической школы. Обобщив сведения, полученные во время личных бесед с рядом ведущих французских ученых, трудящихся в Институте политических наук г. Парижа, Высшей школе социальных наук, университетах Парижа, можно сделать следующие выводы:

А) К сожалению, современная французская историография испытывает немалые трудности. Она вдруг оказалась малоизвестной мировому историческому сообществу, оттого, что французы не публикуются на английском языке, что просто необходимо в современных условиях, потому что на «глобальном историческом рынке» котируются произведения, написанные на английском языке.

Б) Французской исторической школе свойственны отличительные черты и по сей день. Например, англоязычная историография – это историография синтеза, она меньше задействована на архивах, тогда как во французской историографии еще ощущается влияние той эпохи, когда надо было защищать докторскую диссертацию, для чего требовалось проделать глубокое научное исследование. Хотя сейчас, когда и во Франции защищают лишь одну диссертацию, появилась тенденция писать большие работы обобщающего характера, где представлены взгляды и предложены перспективы авторского коллектива. Но пока университетская наука такие работы-амальгамы считает не совсем научными.

В) Еще одна черта современной французской историографии заключается в том, что ученые сосредотачивают внимание на исследованиях отдельных и узких сюжетов, поэтому ей недостает работ, где присутствуют глобальные выводы, что присуще англосаксонской историографии.

Г) Сегодня французской историографии явно не хватает выхода на международный уровень и на другие дисциплины, в том числе на философию, антропологию, социологию, теоретические и политические науки. Велика значимость трудов коллективных, которые, бесспорно, должны совмещаться с индивидуальными.

И.И. Кобылин (Нижегородский ГПУ),
Ф.В. Николаи (Нижегородская государственная медакадемия)

Американские trauma studies: история, культурная память, биополитика

В отечественной историографии практически нет специальных работ, посвященных такому перспективному направлению современных исследований как trauma studies. Отчасти это объяснимо: указанное течение пока трудно охарактеризовать в полной мере – оно весьма неоднородно, его научно-исследовательская программа еще не сложилась окончательно, а принципиальные интересы участников находятся на пересечении различных академических дисциплин (и у многих историков междисциплинарность в данном случае вызывает скорее опасения, чем энтузиазм). Однако анализ «исследований травмы» представляется крайне актуальной задачей. В своем становлении они являются диагностически значимым показателем чрезвычайно важных процессов, идущих в западной историографии в целом. Кроме того, тематизация американскими исследователями травматического измерения истории и разработанный ими аналитический инструментарий могли бы существенно расширить наши возможности при работе с травмирующими аспектами собственного прошлого. (Безусловно, речь идет не о простом заимствовании или копировании, а о теоретически продуктивном диалоге). Настоящее выступление будет сконцентрировано на общем обзоре исторического формирования американских trauma studies и выявлении их специфики по сравнению с другими трендами современной мысли.

Для начала кратко обозначим основные этапы развития этого течения. Ключевым событием, спровоцировавшим его

появление в США, стала война во Вьетнаме. Ветераны и беженцы, чей опыт явно противоречил официальному «патриотическому» дискурсу республиканцев, оказались вовлечены в «великие протестные движения» 1970-х гг. Попытки артикулировать травматичные переживания – на фоне упорного «молчания» государственных институтов – тесно переплетались с радикальным политическим активизмом. Подобная политическая ангажированность была важна и для представителей академического сообщества, впервые попытавшихся сформулировать идеи trauma studies – Б. ван дер Колка, Р.Дж. Лифтона, Х. Шатана, Ч. Фигли, М. Хоровитца.

В результате в конце 1970-х – начале 1980-х гг. trauma studies начинают формироваться за пределами доминирующих нарративов в рамках новых социально-активных дискурсивных практик – women's studies, постколониальных исследований, визуальной антропологии и т.д. – обретающих постепенно академическое признание. Уже в 1980 г. Американская психиатрическая ассоциация приняла предложенное Б. ван дер Колком понятие «посттравматического стрессового расстройства» (ПТСР), а в 1985 г. было создано Общество исследований травматического стресса. Однако, несмотря на это, целостной концепции «травмы» пока не существовало. Это было зонтичное понятие, которым пользовался широкий круг исследователей-практиков, занимающихся сбором, систематизацией и статистической обработкой клинического материала. Поэтому условно период 1980-х гг. можно назвать «терапевтическим» или прагматическим.

В 1990-е гг., когда накопленный материал все настоятельнее требовал концептуального осмысления, развернулись теоретические дискуссии о сущностной специфике травматического опыта и перспективах его репрезентации. И уклониться от этой полемики историки уже не могли. Выразителями крайних точек зрения в этих дискуссиях стали Ш. Фелман и Д. Лакапра. Для Фелман травма нерепрезентируема. Парадоксальным образом все свидетельства и репрезентации оказываются свидетельствами о самой несвидетельствуемости и представлениями самой непредставимости. Лакапра в своей критике взглядов Фелман показывает, что такой подход приводит к возвышенной мистификации/сакрализации травматического потрясения, блокирующей при этом возможность его «проработки» (в смысле фрейдовского понятия «durcharbeitung»), транзитивного диалога с болезненным грузом прошлого. Позиции большинства других

теоретиков *trauma studies* располагались между этими полюсами, и основные усилия были направлены здесь на конкретизацию механизмов травматического воздействия. Эта тенденция проявилась в работах Дж. Александера, М. Джея, К. Карут, Р. Лэйз, Э. Сантнера и др.

Новый импульс развитию *trauma studies* придали события сентября 2001 г., когда все американское общество испытало шок от терактов в Нью-Йорке. Последовавшая «война с террором» вызвала не столько теоретическую озабоченность виктимизацией, сколько обсуждение границ применения понятий, разработанных в рамках *trauma studies*. Действительно, своеобразная «индустрия травмы» в 2000-е гг. охватила самые разные предметные сферы: локальные конфликты и память о мировых войнах XX в.; исследования Холокоста и современной националистической политики Израиля; последствия естественных и технологических катастроф (от Чернобыля до урагана Катрина); трансляцию «вторичной травмы» кинематографом и другими медиа-ресурсами; травмированную память о расовом угнетении и распаде постколониальных сообществ.

Подобная пролиферация стремительно набирающих символический капитал *trauma studies* представляется, на наш взгляд, симптомом целого ряда трансформаций (концептуальных и институциональных), характерных как для современного историописания, так и для гуманитарного знания вообще. Речь идет о формировании специфической *парадигмы памяти*, объединяющей сообщества вокруг опыта прошлого. Причем должным образом «проработанный» негативный опыт может быть по-настоящему продуктивным в деле формирования подлинной солидарности, отличной от фантазматических имитаций ничем незамутненной целостности. И, безусловно, *trauma studies* (и в теоретическом, и в клинично-практическом аспектах) обладают определенным ресурсом для такой проработки. Анализ травматических меток – мнезических цезур (и соответственно защитных процессов вытеснения), шоковых аффектов, навязчивых повторений, неконтролируемых телесных жестов – существенно расширяет наше представление о работе памяти, включая ее сбои и искажения. Всегда находящаяся на стыке персонального и коллективного, личной и культурной памяти травма в этом контексте становится одним из наиболее сложных – и именно поэтому наиболее важных и интересных – топосов новой парадигмы.

Однако у востребованности trauma studies существует и другая сторона. Если в момент своего возникновения они были неотделимы от политически эффективной критики в адрес властных институций, то сегодня, пользуясь беспрецедентным государственным содействием, скорее способствуют политической нейтрализации. Речь уже идет не об ответственности правительства за развязывание полномасштабных военных конфликтов, но лишь об отдельных людях, получивших психические травмы. Граждане – политически активные агенты, способные вырабатывать формы сопротивления насилию и социальной несправедливости – на глазах превращаются в потенциальных жертв, нуждающихся в терапевтической помощи. Медиализация социополитических проблем, культ виктимности, идущий рука об руку с фетишизацией безопасности, вписывают значительную часть исследований травмы в ту биополитическую парадигму, которая согласно Фуко и Агамбену является сегодня господствующей парадигмой власти. Впрочем, стратегия виктимизации находит своих критиков и среди некоторых теоретиков trauma studies, а это значит, что потенциал развития здесь далеко не исчерпан.

М.Е. Колесникова (Ставропольский ГУ)

Становление и развитие кавказоведения во второй половине XIX – начале XX в.

Современный уровень развития кавказоведения – результат труда профессиональных ученых (археологов, антропологов, этнографов, историков, филологов) и краеведов-любителей, которые на протяжении столетий изучали Северный Кавказ, выявляли, накапливали и анализировали источниковую базу исследований, формировали историческое знание о регионе.

Письменная традиция изучения Северного Кавказа уходит корнями в античные времена. Являясь перекрестком исторических дорог, Северный Кавказ привлекал внимание ярким своеобразием своей природы, экзотичностью быта и языковой пестротой населения. Зарождение северокавказской историографической традиции относится ко второй половине XVIII в., когда в период присоединения Северного Кавказа к России и его освоения начинается систематическое научное изучение края. На протяжении XIX в. шло формирование концепта «Северный Кавказ» в отечественной исторической науке, складывались научные традиции кавказоведения.

Центрами по изучению региона во второй половине XIX – начале XX в. стали Императорское Русское Географическое общество и его Кавказский отдел, Общество любителей естествознания и его Этнографический отдел, Императорское Московское археологическое общество. Их исследовательские программы способствовали росту интереса к прошлому Северного Кавказа, консолидации местных исследовательских сил и развитию северокавказской историографической традиции. Ключевую роль сыграл V (Тифлисский) Археологический съезд (1881), положивший начало систематическому изучению края.

Археологическое обследование региона осуществляла Императорская Археологическая комиссия, совмещавшая в себе научно-исследовательские, охранные и реставрационные функции. Члены комиссии А.А. Бобринской, В.Г. Тизенгаузен, Н.И. Веселовский, Н.П. Кондаков, Д.Я. Самоквасов, Н.Е. Макаренко, Н.Я. Марр, Э.А. Реслер и др., а также сотрудничавшие с комиссией любители древности внесли неоценимый вклад в развитие северокавказской археологии. Ими были исследованы и спасены от разрушения многие памятники археологии Северного Кавказа.

Важную роль в развитии исторических исследований сыграли северокавказские (Ставропольский губернский, Терский, Кубанский и Дагестанский областные) статистические комитеты. Их деятельность позволила значительно расширить источниковую базу, воссоздать событийную сторону локальных исторических процессов на Северном Кавказе с древности до начала XX в. Северокавказские статкомитеты стали научными центрами, которые объединили вокруг себя провинциальную интеллигенцию, занимавшуюся археологическими, этнографическими и историческими исследованиями. Интенсивность и характер этих исследований во многом зависели от деятельности секретарей комитетов П.П. Соколова, Н.Н. Черноярского, И.В. Бентковского, Н.А. Благовещенского, Е.Д. Максимова, Г.А. Вертепова, М.А. Караулова, Е.Д. Фелицына, В.А. Щербины, С.В. Руденко, Е.И. Козубского и др. Результаты научно-исследовательской деятельности членов статкомитетов публиковались в их периодических изданиях (Дагестанский сборник. Темир-Хан-Шура, 1902. Вып. 1-2; Кубанский сборник. Екатеринодар, 1883-1916. Т. 1-21; Сборник сведений о Северном Кавказе. Ставрополь, 1906-1914. Т. 1-11; Терский сборник. Владикавказ, 1890-1910. Вып. 1-7).

Кавказская археографическая комиссия, издававшая «Акты» (Тифлис, 1866–1885), и Ставропольская губернская ученая

архивная комиссия – один из центров изучения региональной истории в начале XX в. объединили северокавказскую интеллигенцию, скоординировали ее усилия по изучению региона. Они спасли от уничтожения документальное наследие, заложив основы архивного дела на Северном Кавказе.

Активизация местных исследовательских сил при содействии столичных научных учреждений и обществ обусловила создание в этот период ряда северокавказских научных обществ (Ставропольское епархиальное церковно-археологическое общество, Общество любителей изучения Кубанской области, Общество любителей казачьей старины, Общество распространения в народе грамотности и полезных знаний, Кавказское горное общество, Кубанское общество народных университетов, Терское общество любителей казачьей старины, Ставропольское общество для изучения Северо-Кавказского края, Кубанское общество любителей изучения казачества, Терское общество защиты и сохранения памятников старины и др.), занимавшихся археологическими, этнографическими, историко-краеведческими исследованиями, охраной памятников древности, музейной, просветительской и издательской деятельностью. Это были самостоятельные историко-краеведческие центры, развитие которых определялось их организационными и материальными возможностями, самобытностью местной проблематики.

В северокавказских научных учреждениях и обществах работали как профессионалы, так и историки-любители, которые состояли в нескольких обществах одновременно, что было характерно для пореформенной российской провинции в целом. Большинство северокавказских историописателей были выходцами из чиновничества и учительства, отчасти – духовенства. Среди них было немало представителей горской интеллигенции, выпускников Ставропольской мужской гимназии, военных. Они работали в статистических комитетах, состояли членами научных обществ, бескорыстно занимались научными исследованиями и просветительством, создавали музеи и библиотеки. Среди них: А.П. Архипов, И.В. Бентковский, Г.А. Вертепов, В.Ф. Владимирский, Н.И. Воронов, Б.М. Городецкий, Н.Ф. Грабовский, С.К. Даль, Н.Я. Динник, А.Н. Дьячков-Тарасов, М.И. Ермоленко, К.Т. Живилов, М. Заалов, А.-Г. Кешев, Д.С. Кодзоков, М.В. Краснов, В. Кудашев, Н.Т. Михайлов, Д.М. Павлов, Г.К. Пправе, Г.Н. Прозрителев, Л.П. Семенов, П. Тамбиев, А.И. Твалчрелидзе, П.И. Хицунов, Б. Шаханов и многие другие.

Их труды имели форму краеведческих и топографических описаний – наиболее распространенного типа научной работы того времени. Они содержали исторические, археологические, этнографические, статистические и географические сведения и были этапом на пути создания обобщающих трудов по истории Северного Кавказа, способствовали накоплению источниковой базы, углублению и дифференциации исторической тематики. Содержащийся в них разнообразный материал позволяет не только воссоздать историю региона, но и увидеть сам процесс «создания» исторической науки в провинции.

Существенный вклад в изучение истории края внесли военные историки: Н.Ф. Дубровин, А.Л. Зиссерман, П.П. Короленко, И.С. Кравцов, И.Д. Попко, В.А. Потто, Д. Романовский, К.Ф. Сталь, В.Г. Толстов, Р.А. Фадеев, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина, С. Эсадзе, А. Юров и др.

В пореформенный период значительную роль в консолидации северокавказского культурного сообщества сыграла региональная периодическая печать. Анализ «Ставропольских губернских ведомостей», «Кубанских войсковых ведомостей», «Терских областных ведомостей», «Кубанских областных ведомостей» («Кубанские ведомости»), «Кавказских епархиальных ведомостей», «Ставропольских епархиальных ведомостей», «Владикавказских епархиальных ведомостей» показывает, что провинциальное историописание (приемы и методы работы с источниками, включая устную память, конструкции исторического нарратива, формы и жанры исторических работ) – представляет различные уровни исторического знания и типы исторического письма.

Н.В. Лунатова (Ульяновский ГУ)

Историк как психотерапевт современного общества: общественный потенциал исторического знания

*Дело историка – не выносить приговоры, но понимать.
Марк Блок. Судить или понимать?*

Медицинское сообщество и законодательство четко различают функции и роль психолога, психиатра, психотерапевта, психоаналитика. Аналогично различаются и задачи политолога, социолога и историка. Именно врач-психотерапевт, имея право назначать лекарственные препараты (в отличие от психолога), чаще всего занимается нефармакологическим лечением –

лечебной беседой. Аналогия между историком и психотерапевтом на первый взгляд представляется излишне вольной. Однако именно аналогия является одним из самых универсальных эвристических приемов для решения творческих задач, что необходимо, как воздух, настоящему историку – историку, стремящемуся избежать пристрастности журналиста, политика или обывателя и взглянуть на исторические фигуры не как на неудачников или героев, а как на людей своей эпохи, на события не как на результат чьих-то козней, а как на сложный многогранный жизненный процесс.

Аналогия – правдоподобное вероятное заключение о сходстве двух предметов в каком-либо признаке на основании установленного их сходства в других признаках [Спиркин А.Г. Философия. М., 1985. С. 503]. Аналогия лежит в природе самого понимания фактов, связывает неизвестное с известным. Правда, со времен Дэвида Юма аналогия зачастую рассматривается как в лучшем случае спорный метод изучения разделенных во времени ситуаций. Однако, в начале XX в. метод познания по аналогии был оправдан и в настоящее время, как минимум, признается, что он может использоваться в гуманитарных науках [Wolf J. Intelligent Design Debate and the Rehabilitation of Analogical Knowledge. Publication of Metanexus Institute // www.metanexus.net/magazine]. Этот метод, основывающийся на свойстве человеческого мозга устанавливать ассоциативные связи между словами, понятиями, чувствами, мыслями, впечатлениями, позволяет, вместе со сравнением, наиболее отчетливо увидеть аспекты проблемы, находящиеся в тени.

Историк реагирует на недуги общества, «страдающего» теми же проблемами, что и обычный человек – забывчивостью, замкнутостью на себя, и т.д. Примером может служить факт смещения событий 1991 и 1993 гг. у Белого дома в Москве, подтвержденный результатами социологических опросов.

Историк в обществе не исследователь, а врач. Порой он подпитывает уверенность пациента, подтверждая историческими данными основание для чувства гордости. Наиболее ярко это показывает праздник 9 мая – День Победы, который не нуждается в исторической мотивации, так как общество его всецело принимает. Более того, исследования историков, не отражающие позитивного представления о ПОБЕДЕ, на уровне общества игнорируются. Другой праздник – 4 ноября, исторические корни которого уходят в Смутное время, требует исторической подпитки, поскольку, согласно социологическим

опросам, более 60 процентов респондентов не знают фактуры, составляющей основу исторической гордости.

Историка стоит называть социальным врачом еще и потому, что именно он, в отличие от политолога, социолога, видит состояние не только «здесь и сейчас», а анализирует его и в исторической ретроспективе, и в широких географических рамках. Сравнения и диагнозы историков порой весьма неслестны для их родного общества, но необходимы как лекарство, как лечебная беседа. Результат такого воздействия – оживление как позитивных, так и негативных эмоций и реакций общества. Рассмотрим несколько аспектов воздействия исторического знания на общество, которые, безусловно, не являются исчерпывающими.

Бытовой аспект зачастую выражается в словесной формуле – *поговорить об истории*. Историческое знание выступает исключительно в роли факта, независимо от его собственной структуры. Историческая эрудиция свидетельствует не столько о начитанности и любознательности, сколько превращает ретранслируемые факты в аргументы дальнейших «кухонных» бесед, далеких от исторического знания.

Творческий аспект превращает человека, обладающего исторической информацией (источник абсолютно не важен) и умеющего найти традиционную основу для новой идеи, праздника и т.д., в историка-хранителя старины. Материальным выражением служат музеи, юбилей населенного пункта, памятные доски и т.д.

Идеолого-мировоззренческий аспект превращает историческое исследование и самого историка в создателя идеологической концепции, которая зачастую представляет инструмент исторического манипулирования. Наиболее ярким примером в отечественной историографии является концепция М.Н. Покровского «Февраль – пролог Октября», повлиявшая не только на историческую науку, но и на мировоззрение общества в целом.

Образный аспект трансформирует историческую информацию в рекламу. Историк авторитетным мнением превращают неисторическую информацию в историческую действительность в глазах общества посредством фильма, литературного произведения, рекламного ролика, агитационного плаката и т.д. Существует и обратная ситуация, когда именно образ создает псевдодействительность. Слова популярной песни могут влиять на восприятие событий, в этом меня убеждает собственный преподавательский опыт. Стоило группе «Любэ» спеть песню «Не валяй дурака, Америка» со строками про

«Екатерину, которая была не права», продав Аляску Америке, как студенты, слушавшие эту группу, стали на экзаменах отвечать: «Аляску продали при Екатерине II». Когда я спрашивала, откуда эта информация, то слышала в ответ: «Ну, ведь есть такая песня».

Вещный аспект отчетливее всего проявляется в коллекционировании. Антиквариат, филателия, нумизматика и т.д. Коллекционер соприкасается с историей посредством предметов, познает эпоху на микроуровне. Знания мелочей превращают его в глазах общества в эксперта уже не только по предметам коллекции, но и по истории эпохи.

Психологический аспект связан с историко-биографическими исследованиями. Вместо историй успеха пациента I, или информанта N, историк имеет дело с конкретными публичными личностями прошлого. Популярность исследований дневниковых записей, эпистолярных источников объясняется еще и тем, что подобные источники интересны широкому кругу читателей, о чем свидетельствует востребованность книжной серии ЖЗЛ и мемуарной литературы.

«Престиж утверждения *это было*, – пишет Ролан Барт, – обладает поистине исторической значимостью и масштабом. Вся наша цивилизация питает пристрастие к эффекту реальности, что подтверждается развитием таких специфических жанров, как роман, дневник, документальная литература, хроника происшествий, исторический музей, выставка старинных вещей, а в особенности массовое развитие фотографии, чья единственная отличительная черта (по сравнению с рисунком) – именно обозначение того, что изображенное событие *действительно* имело место» [Барт Р. Дискурс истории // Система моды: Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 438]. Таким образом, позиция историка-исследователя заключается не только в том, чтобы хронологически укладывать и связывать исторические факты, но и в том, чтобы их истолковывать.

С.И. Маловичко (Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва)

Источниковедение историографии с точки зрения Научно-педагогической школы источниковедения

В связи с трансформацией функций гуманитарного знания, размывания как его рационалистической, так и охранительной составляющих, вопрос о познавательных возможностях

исторической науки становится ключевым в эпоху постпостмодерна.

Оказавшись в ситуации парадигмального изменения в гуманитаристике, историки отмечают, что «вся история целиком вступает в свой историографический возраст» [Нора П. Между памятью и историей: Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб., 1999. С. 23], а историография все чаще начинает выступать как одна из «базовых составляющих исторической культуры» [Репина Л.П. Память и историописание // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени. М., 2006. С. 45-46]. Актуализация роли историографии происходит в ситуации, которая характеризуется все большим размежеванием разных типов исторического знания: социально ориентированного и научно ориентированного, где последнее старается найти более строгие научные основания профессиональной деятельности историков. Неслучайно обращается внимание на пересмотр параметров истории историографии [Grever M. Fear of Plurality: Historical Culture and Historiographical Canonization in Western Europe // Gendering Historiography: Beyond National Canons. Frankfurt; NY, 2009. P. 46-47] и делается вывод о своевременности формирования нового направления исторической критики, позволяющего исследовать не столько концепции, историографические направления и школы, а профессиональную культуру в целом [Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011. С. 409-410].

Строгие научные основания истории историографии может предоставить лишь логический процесс верификации получаемых результатов исследования, базой которого служит *источниковедение историографии*. Ее актуальной задачей является *классификация историографических источников* и такую работу историки проводят уже довольно давно, а предложенный жанровый подход [См.: Нечкина М.В. История истории (Некоторые методологические вопросы истории исторической науки) // История и историки: Историография истории СССР. М., 1965. С. 10], а также классификация исторической литературы по принципам происхождения, авторства и вида [См.: Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М., 1987. С. 126] до сих пор привлекают внимание исследователей. Однако научные принципы систематизации (кроме «классового» подхода) и выявления видового состава историографических источников так и не были определены, что особенно заметно по докторским диссертациям последних лет. В данном случае я

остановлюсь на проблеме структурирования таких историографических источников как произведения историков, что наиболее полно соответствует базовому понятию *историографический источник*.

Феноменологическая парадигма Научно-педагогической школы источниковедения (сайт Источниковедение.ru), восходящая к эпистемологической концепции А.С. Лаппо-Данилевского, как мне уже приходилось замечать, позволяет исследователю плодотворно работать с историографическими текстами [См.: Маловичко С.И. Историописание: научно ориентированное vs социально ориентированное // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: материалы XXII междунар. науч. конф. М., 2010. С. 24]. Тем более что, как отмечает М.Ф. Румянцева, сегодня происходит парадигмальное сближение историографии с источниковедением в рамках интеллектуальной истории [Румянцева М.Ф. Феноменологическая парадигма источниковедения в актуальном историографическом пространстве // Будущее нашего прошлого: материалы всеросс. науч. конф. М., 2011. С. 227].

Необходимо помнить о том, что произведения историков прошлого по отношению к наблюдателю-исследователю выступают эмпирической реальностью – вещью, которая сама по себе, реализованный интеллектуальный продукт, результат целенаправленной человеческой деятельности, выступающей в процессе познания как особый феномен. Этот феномен, по мнению О.М. Медушевской, представляет собой «главный материальный объект, посредством которого возникает в автономной человеческой информационной среде феномен опосредованного информационного обмена» [Медушевская О.М. Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в системе гуманитарного знания: материалы XX междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. – 2 февр. 2008 г.: в 2 ч. М.: РГГУ, 2008. С. 33]. Таким образом, источниковедческий подход может строиться на феноменологической парадигме, которая, по меткому замечанию историка, уже является источниковедческой по своей ключевой позиции [Медушевская О.М. История в общей системе познания смена парадигм // Единство гуманитарного знания: новый синтез: материалы XIX междунар. науч. конф. Москва, 25 – 27 янв. 2007 г. М.: РГГУ, 2007. С. 14].

Феноменологическая парадигма позволяет рассматривать историю историографии (и историю в целом) как науку, имеющую свой эмпирический объект, создававшийся в процессе целенаправленной деятельности историописателя. Созданный автором интеллектуальный продукт становится основным источником информации о человеке и исторической культуре его времени. При этом, в качестве объекта источниковедческой операции выступает уже не отдельно взятое произведение, а система (вид) историографических источников, соответствующая определенному типу культуры. Разработка видовой природы исторического источника, отмечает М.Ф. Румянцева, «дает возможность... рассматривать каждый исторический источник не только как уникальное произведение человеческого творчества, но и как “экземпляр” в контексте данного вида исторических источников, как объект, несущий в себе устойчивые признаки породившей его культуры» [Румянцева М.Ф. Современное источниковедение: поиск универсальных оснований научного знания // Проблемы исторического познания. М.: ИВИ РАН, 2011. С. 70-82]. Неслучайно, основой процедуры выделения видовой структуры исторических источников в Научно-педагогической школе источниковедения принят принцип *целеполагания*.

Подход Научно-педагогической школы источниковедения позволяет рассматривать историю историографии как строгую науку, дает возможность выявить связи между произведениями и авторами, которые существовали в период функционирования живой информационной сети своего времени и тем самым включить их в систему произведений. Каждый продукт человеческого интеллекта структурирован своей целью. Поэтому произведения историков функциональны, они несут в себе обозначение своей функции в системе исторического знания, т.к. цели, ставившиеся историками при написании диссертаций, монографий, статей, больших нарративов по национальной истории, а тем более курсов лекций, не могли быть одинаковыми. В практике историографических изысканий плодотворными будут исследования информационного ресурса какого-либо одного вида историографического источника (монографии, статьи, рецензии, отзывы и т.д.). Выбор однородных видовых корпусов историографических источников предоставляет перспективу выстраивания компаративных исследований, позволяющих изучать общие и особенные черты видовых конфигураций в разных школах историков в рамках национальной историографии,

а также в различных национальных историографиях, как в синхронном, так и в диахронном аспектах.

П.Н. Матюшин (Чувашский ГУ, Чебоксары)

Формирование исторического сознания в период политического террора 1930-х гг.

1930-е гг. в истории Советского Союза – сложный период, неоднозначно оценивающийся учеными, политиками, общественностью. Особой проблемой является формирование исторической памяти в этот период, для изучения чего необходим анализ взаимоотношений государства и школьного образования как структуры, влияющей на формирование исторического сознания.

Школьное образование 1930-х гг. уже становилось объектом исследований историков. Однако, вопрос о методах формирования исторического сознания школьников второй половины 1930-х гг. – времени политического террора – специально не рассматривался. В этот период основной упор был сделан на работу в средних школах для того, «чтобы сделать историю наиболее могучим фактором коммунистического воспитания» [Ярославский Ем. Невыполненные задачи исторического фронта // Историк-марксист. 1939. № 4. С. 7]. И это несмотря на то, что в большинстве советских школ ситуация выглядела так: «малоподготовленный преподаватель работал в одиночку, без литературы, без всякой помощи» [Хазанова Е. Преподавание истории в неполной средней школе в первой половине 1936/37 учебного года // Историк-марксист. 1937. № 3-4. С. 216].

1934-й год ознаменовался масштабными изменениями в преподавании истории. 15 мая ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О преподавании гражданской истории в школах СССР». В нем решительно осуждались прежние подходы к преподаванию общественных дисциплин, когда «вместо преподавания гражданской истории в живой и занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности с характеристикой исторических деятелей учащимся преподносились абстрактные схемы». Это постановление положило начало формированию содержания систематических школьных курсов истории в советский период.

Однако, основы советской истории во второй половине 1930-х гг. не только не были до конца восприняты обществом, но и наталкивались на неизбежные в таких случаях препятствия: жизненный опыт и знание людьми реальной истории. При этом, на периферии страны появлялась возможность получения альтернативной информации. В политических отчетах по Чувашской АССР за 1936–1937 гг. есть сводки о настроениях в среде учительства, «протаскивавшего» контрреволюционно-троцкистскую идеологию и занимавшегося «прямой контрреволюционной троцкистской агитацией». Причины указывались следующие: «1) наличие проникновения в некоторые учебные заведения классово-чуждых элементов и лиц с чуждой идеологией, на деле проводящих прямую контрреволюционную работу, благодаря отсутствию проверки их при назначении и приеме на учебу со стороны Наркомпроса ЧАССР; 2) недостаточное, а подчас и полное отсутствие партийной и комсомольской работы среди учащихся, в силу чего последние остаются без партийно-комсомольского влияния, просвещения и воспитания; 3) имели место отрывы руководителей и воспитателей (директоров, учителей) в отдельных школах от личной жизни и бытовых условий учащихся вне школы и полное предоставление последних самим себе; 4) наличие отдельных классово-враждебных элементов и лиц с чуждой идеологией». Этим реставраторским и контрреволюционным установкам своевременный отпор не давался, поскольку преподаватели недостаточно интересовались жизнью учеников. Так, например, учитель Шихазановской средней школы Никифоров вместо того, чтобы вскрыть корни отчужденности ученика Павлова пошел по линии наименьшего сопротивления и заявил ему: «Ты в школе все равно не уживешься, тебе надо из нее уходить» [Государственный архив современной истории Чувашской Республики. Ф. 1. Оп 18. Д. 68. Л. 67-68]. Зачастую учителя высказывали свое мнение о «врагах народа» – Троцком, Бухарине, Рыкове. Такие высказывания органами НКВД незамедлительно связывались с настроениями учеников: «Ученик 7 класса Русско-Чукальской НСШ Шемуршинского района Ченышев повесил мертвую курицу на веревке у клуба с надписью на бумаге "Я могла жить, но померла потому, что в колхозе хлеба не дали". При расследовании выяснилось, что это было сделано по указанию отца. Студенты II курса Алатырского педтехникума распространяли антисоветские анекдоты» [Там же. Д. 86. Л. 75].

Положение с молодыми учителями, в том числе и по истории, описана в одном из отчетов районного отдела образования следующим образом: «Оканчивающие педучилища не получали необходимую идейно-теоретическую подготовку и необходимые организационные и практические навыки для самостоятельной работы в школах. Часть учительства, становясь на самостоятельную практическую работу в школах, постепенно сползали с правильного пути, потеряли необходимое политическое чутье в работе и очутились в плену мелкобуржуазной стихии и мещанской обывательности. Многие молодые учителя, преимущественно окончившие педучилище, разложились в идейно-политическом и бытовом отношении. Вместо систематической и упорной работы над собой занимаются пьянством и развратничеством» [Там же. Д. 134. Л. 8].

«Краткий курс истории ВКП(б)» (1938) был призван заменить «несовершенные» учебники по истории СССР. В частности, к ним были отнесены учебники Г. Зиновьева, Волосевича, Ем. Ярославского, преданные анафеме за изложение истории ВКП(б) прежде всего «вокруг исторических лиц и воспитывавших кадры на лицах и биографиях» [Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» // Пропаганда и агитация в решениях и документах ВКП(б). М., 1947. С. 369]. Издание «Краткого курса...», хотя и вызвало рост активности масс по изучению его основных положений, привело также к заметному «отторжению» допущенного передергивания реальных событий.

Учительство беспокоила, прежде всего, возможность использовать «Краткий курс» в качестве учебного пособия. «Не могу не указать на один очень крупный недостаток. Дело в том, что книга предложена для массового пользования публики примерно со средним образованием. Но глава IV переполнена научными выражениями и в ней не разобраться», — писал в комиссию по изданию «Краткого курса» народный учитель С.И. Пугачев [РГАСПИ. Ф. 623. Оп. 1. Д. 1. Л. 47], подтверждая тезис Ярославского, высказанный в 1935 г. в письме Сталину и Стецкому, о необходимости выпуска трех видов учебников (для низовой партийной сети, для комвузовцев и пропагандистов).

Таким образом, в массовом сознании не только закладывалось искажение исторической истины, но и создавались предпосылки для длительного и устойчивого существования этого искажения. Как свидетельство успеха формирования нового исторического сознания можно привести

отрывок из докладной записки в управление Главлита СССР: «Пришлось мне встретить книжицу, где на обложке помещены портреты Ленина и Троцкого, а внизу написано "Да здравствуют наши вожди". Эту книжицу читают дети.... Надо это быстро ликвидировать» [Там же. Д. 120. Л. 49]. Человек, писавший это, даже не задумывается, почему Троцкий назван вождем наряду с Лениным. Безотказно срабатывает сформированный стереотип «Троцкий-враг», отмечающий остальные вопросы.

Аллан Мегилл (Allan Megill)
(Университет Вирджинии, США)

Интеллектуальная и дисциплинарная истории: общее и особенное

Данное исследование начинается с ряда констатаций. *Во-первых*, существуют разные жанры интеллектуальной истории. *Во-вторых*, интеллектуальная история имеет более тесные связи (а иногда и частично совпадает) с множеством других дисциплин, чем дисциплинарная история, в том числе *среди прочих других*, с философией, политическими, естественнонаучными и литературными исследованиями. *В-третьих*, по отношению к дисциплинарной истории интеллектуальная история часто рассматривается как на удивление слабо привязанная и даже чуть ли не маргинальная.

Повод для размышления над этими проблемами около года назад был дан мне датским интеллектуальным историком Миккелем Торупом (Орхусский университет), сформулировавшим мне и многим другим интеллектуальным историкам пять тщательно отобранных вопросов, касающихся данной области. Краткая версия моих ответов на эти вопросы была опубликована в книге “Intellectual History: 5 Questions” (Ed. by F. Stjensfelt, M.H. Jeppesen, and M. Thorup. Automatic Press/VIP, Copenhagen, 2012: <http://www.vince-inc.com/contact.html>); подробные ответы можно найти в двух моих статьях [Five Questions on Intellectual History // Rethinking History. 15: 4 (December 2011). P. 489–510; Пять вопросов по интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2012. № 38. С. 489–510]. Кроме того, у меня состоялось широкое обсуждение этих вопросов с посетившим Университет Вирджинии К. Чжаном (Xupeng Zhang) (Китайская академия общественных наук), и этот диалог также будет опубликован в 2012 году в Китае и в 2013 году в Англии.

В данном исследовании я развиваю свои размышления о жанре интеллектуальной истории, в частности об ее зачастую сдержанном, а иногда даже проблематичном отношении с дисциплинарной историей. Многие ученые, внесшие свой вклад в этот жанр, считают своим «домом» другие дисциплины и области специализации – литературные исследования, философию, естественнонаучные и политические исследования, историю искусства и т.д. И даже те интеллектуальные историки, которые «живут» в истории зачастую по своим интересам и способам анализа стоят особняком от своих коллег-историков – не все, но все-таки многие.

Какими должны быть отношения между интеллектуальной историей и историей дисциплинарной? Какие последствия это может иметь для интеллектуальных историков и их работы? Может и должна ли интеллектуальная история заявить о своей «автономии» по отношению к другим областям (как однажды предложил американский интеллектуальный историк Леонард Кригер) и, если да, что должно стать основой и последствиями такой автономии? Или следует заявить о ее особом отношении с дисциплинарной историей?

Л.П. Репина (ИВИ РАН, Москва)

Социальные функции исторической науки в XXI веке*

О социальных функциях историописания написано немало, этот вопрос (в различных терминах и формулировках) занимал историков самых разных эпох, начиная с древности. Тезис о пользе исторических сочинений постоянно присутствовал у античных и у византийских авторов, и, более того, именно стремление принести «пользу» декларировалось как цель исторических трудов, впрочем, наряду и в тесной связке со столь же извечным стремлением к «истине». Между тем, со становлением истории как академической дисциплины проблема функций исторического знания существенно усложнилась и трансформировалась – именно в связи с новыми установками на достижение *исторического знания* и критериями *научной истории*. В этой связи уже в новых социальных и интеллектуальных условиях конца XIX – первой половины XX века в целой серии посвященных методологии истории работ (как в тех, что скоро

** Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 10-06-00264).

стали классическими, так и в ныне практически забытых) – либо во вводных главах, либо как центральная тема – вновь оказался актуальным и дискуссионным вопрос о пользе истории (например, в «Апологии истории» М. Блока или в «Пользе истории А. Роуза, если ограничиться 1940-ми гг.). Наконец, в острой полемике между критиками истории в ее модернистском понимании и историками, защищавшими статус «истории как науки» перед лицом «постмодернистского вызова», вопрос о функциях и «пользе» исторической науки стал рассматриваться во все более тесной связке с вопросом о «злоупотреблении» ею (что, например, ярко проявилось в постановке соответствующих проблем в рубрике «главных тем» для обсуждения на Международных конгрессах исторических наук в конце прошлого и в начале нынешнего столетия).

И.М. Савельева и А.В. Полетаев в целом ряде своих работ (в том числе в специальной статье: Савельева И.М., Полетаев А.В. Функции истории. Гуманитарные исследования. Серия WP6. М., 2003, а также в фундаментальных монографиях) проделали обстоятельный анализ всего спектра функций историописания и предложили их новое истолкование с учетом динамики развития исторической науки Нового времени и ситуации, сложившейся в XX веке, заметив, в частности, целенаправленность и активность действий представителей прагматического типа историографии Нового времени, пригодной для обоснования идеологических принципов и политических задач, в осуществлении широко понимаемых социальных функций – тех историков, которые «особенно остро осознают свою зависимость от настоящего, сознательно реагируют на проблемы своего времени и пытаются, как минимум, “словом” воздействовать на способы их решения» [Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. В 2 т. СПб., 2006. Т. 2. Образы прошлого. С. 562]. Ими же впервые был поставлен очень важный вопрос, насколько «применимы предшествующие многовековые рефлексии по поводу функций истории к современной ситуации», и, в попытке осмыслить, что произошло с функциями исторического знания в XX в., список этих функций был сведен к пяти ключевым понятиям: *поддержание образцов, легитимация, идентификация, открытие Другого и историческая память.*

Несмотря на формальные различия нельзя не заметить как некоторые пересечения, так и значимые расхождения между указанными понятиями, обобщающими функции истории в Новейшее время, и пятью аспектами (*семантический, когнитивный, эстетический, риторический и политический*),

выделенными Й. Рюзенем для характеристики исторического сознания и историописания [Rüsen J. Historisches Erzählen // Rüsen J. Zerbrechende Zeit. Über der Sinn der Geschichte. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2001. S. 43-105].

Пожалуй, наиболее острые дискуссии, напрямую касающиеся рассматриваемой проблемы, концентрируются сегодня вокруг понятия «историческая память», а точнее – вокруг отношений между исторической памятью и исторической наукой. Все чаще вопросы такого плана поднимаются не только в связи с состоянием и задачами современного исторического знания, но и с более специальными проблемами историко-историографического анализа. Это противопоставление истории и памяти в современной форме в некотором смысле повторяет оппозицию истории как науки и истории как искусства, широко обсуждавшуюся еще на рубеже XIX–XX вв., и – что весьма показательно – перечисляемые в работах первой половины XX в. позитивные и негативные следствия утверждения научного статуса истории для ее воздействия на широкую публику и, соответственно, на общество в целом [Rowse A. The Use of History. L., 1946. С. 87-89; etc.], совпадают с тем набором размежеваний, которыми характеризуются аналитические конструкты, обозначаемые обычно концептами «историческая память» (варианты: «образы прошлого», «массовые представления о прошлом» и т.п.) и «научная история» (варианты: «история историков», «критическая история» и т.п.).

Если памяти, вслед за П. Нора, приписывается ведущая роль в организации, сохранении/забвении и прагматичной (в интересах общества или отдельных групп) актуализации опыта («образов») прошлого в настоящем, то «научная история» выступает как критическая, аналитическая, проблемная. Среди множества разнообразных версий этого «противостояния» в работах последних лет наиболее интересными представляются две очень близкие (но совсем совпадающие, поскольку нередко рассматриваются в разных планах и с разными исследовательскими задачами) интерпретации дихотомии «социально-ориентированной» и «научно-ориентированной» истории, представленные в ряде докладов и статей М.Ф. Румянцевой [см., например: Румянцева М.Ф. «Места памяти» в структуре национально-исторического мифа // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 106-118] и С. И. Маловичко [Маловичко С.И. Социальная память и историческая наука: проблемы целополагания // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII – начала XX века. М., 2011. С. 212-215; и мн. др.]. Конвенциональность нашего

профессионального языка обуславливает необходимость детального обсуждения, прояснения и уточнения понятий, которыми мы оперируем, более четкой дифференциации сфер их употребления, выявления возможных затемняющих смысл коннотаций и сомнительных аналогий.

Представляется, в частности, полезным выделить различные по своим задачам составляющие «социально-ориентированной истории», смысл и содержание которой отнюдь не исчерпывается социально-политическим конструированием («национальная история» как идеологический проект; «политика памяти»; «контрапрезентная память»). Без понимания специфики целеполагания и коммуникативных стратегий «публичной истории» (или «истории для всех») невозможно предметно представить современные перспективы распространения исторического знания в их научно-популярной форме). Осуществляемое через разделяемые «образы прошлого», стереотипы восприятия, уровни понимания, критерии полезности и горизонты ожиданий детерминирующие воздействие социокультурного контекста на современное историческое знание и перспективы развития исторической науки не отменяет оснований для действия обратного вектора. Историческое сознание является неотъемлемой структурообразующей частью общественного сознания, и именно в этой сфере рельефно обнаруживается социально-воспитательная функция и прагматика исторической науки, реализуется ее мировоззренческий потенциал, познавательная и практическая ценность, задействуются механизмы ее влияния на развитие общества и его отдельных групп. «Публичная история», которая преодолевает отчуждение исторической науки от «непосвященных», опираясь на новые подходы, используя все возможные каналы влияния для распространения исторических знаний и навыков исторического мышления в кругах непрофессионалов, оперативно отвечая на социальные запросы, общаясь с публикой на понятном ей языке и используя современные средства коммуникации, является важным инструментом данной стратегии, которая должна активно противостоять политическим проектам, которые, например в форме «национальной исторической памяти», могут оборачиваться оружием массового поражения.

Применение общего понятия «социально-ориентированной истории» в целях историко-историографического анализа в режиме *longue durée* также требует разработки более тонкого инструментария. Как показывает многовековая история историографии, два выделяемых в аналитических целях

измерения историописания – идеологическое (политическое) и когнитивное (критическое) – не только размежевывались, но причудливым образом «сцеплялись», и «история критической историографии» не ограничивается периодом развития истории как научной дисциплины, а выступает как органичная часть синтетической *истории исторической культуры*, включающей историю исторического познания, сознания и мышления, историю исторических представлений и концепций, способов производства, хранения, передачи исторической информации, а также, разумеется, и средств манипулирования ею, и, не в последнюю очередь – идеологизированных «образов прошлого», задающих интерпретационные модели и выступающих как мощный фактор личностной и групповой идентичности. История исторической культуры предполагает изучение динамики состояний исторического сознания во взаимосвязанности трех различных перспектив, которые в той или иной мере соответствуют таким основным направлениям обновленной методологии интеллектуальной истории, как история интеллектуальной жизни, история ментальностей и история ценностных ориентаций, и, потому требует разработки соответствующего интегрального концептуального аппарата.

Н.В. Старикова (Нижегородский ГПУ)

К вопросу о становлении научного статуса исторической науки в России XVIII в.

Историческая наука в России в XVIII в. делала свои первые шаги в условиях господства представлений о «прагматизме» научного знания, постоянного притока идей западной историографии, в условиях разрушения догматов о собственной уникальности и обособленности и, вместе с тем, пытаясь сохранить самоидентификацию.

Развиваясь под эгидой государства и удовлетворяя в первую очередь его запросы и потребности, историческая наука заявляла о собственно научных задачах, без решения которых, ее окончательное оформление было бы невозможно. Обсуждение научных проблем не замыкалось в рамках академии и академического сообщества. С середины века с появлением научно-популярных периодических академических и частных изданий в них публикуются статьи и материалы по истории, обсуждаются важнейшие на тот момент вопросы науки. Спецификой российских академических и университетских

журналов был их научно-популярный характер, а главной задачей – донести научную информацию до любознательных читателей. Таким образом, именно журнальные издания середины – второй половины XVIII в. стали «рупором» исторической науки, где историки-профессионалы и любители излагали насущные потребности зарождающейся науки.

Важную информацию по данной проблеме дает нам анализ академического издания «Ежемесячные сочинения» (1755–1765 гг.) (далее – ЕС), на страницах которого часто публиковались статьи по истории. Автором большинства материалов, излагавших важнейшие задачи исторической науки, был Г.Ф. Миллер, являвшийся редактором журнала в это время. Ряд статей, опубликованных на страницах «Ежемесячных сочинений», посвящался изучению древнерусских летописей. Г.Ф. Миллер (без сомнения являвшийся их автором) указывал на то, что в сочинениях по русской истории западноевропейских историков содержится множество «погрешностей», ошибок и неточностей. Их причиной, по мнению ученого, было плохое знание русских источников, главным из которых являлась летопись. Именно на изучении последней должно основываться исследование по российской истории. Плохое знание русского языка не дает иностранцам возможности доподлинно изучить летописные своды, поэтому этим должен заняться ученый, состоящий на службе Российской Академии наук, хорошо знающий язык [Миллер Г.Ф. Предложение как исправить погрешности находящиеся в иностранных писателях писавших о Российском государстве // ЕС. 1757. Апр. С. 224-231]. Эта тема была продолжена в ряде других работ, в том числе в статье «Рассуждение о двух браках введенных чужестранными писателями в род Великих князей Всероссийских» [Он же. Рассуждение о двух браках введенных чужестранными писателями в род Великих князей Всероссийских // ЕС. 1755. Февр. С. 87-102]. Автор замечает, что исследование и анализ летописей должно стать первостепенной задачей для историка. Изучению «Повести временных лет» Г.Ф. Миллер посвящает отдельную статью «О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оные» [Он же. О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оные // ЕС. 1755. Апр. С. 299-324]. Здесь ученый не только указывает на необходимость публикации древних источников для того, чтобы сделать их более доступными широкому кругу читателей и привлечь таким образом внимание к их анализу, но и дает весьма высокую оценку работе

В.Н. Татищева, поднимает проблему авторства летописных сводов. В следующей публикации «Сумнительства, касающиеся до российской истории» [ЕС. 1755. С. 433-437] Г.Ф. Миллер обращается к проблеме встречающихся несоответствий при сопоставлении русских летописей и византийских источников. Обращаясь ко всем любителям российской истории, издатель предлагает внимательно изучить и разрешить эту проблему.

Целый раздел «Санкт-Петербургских ведомостей» посвящался обзору новых книг. В нем от лица журнального редактора часто давалась оценка книжным новинкам, публиковались отрывки. «Известие о сочинении И. Богдановича Историческое изображение России» [Санкт-Петербургские ведомости. 1778. Июль. С. 55-56] сопровождалось публикацией принципов исторического исследования, с которым издатель был в целом согласен: 1) преодоление хронологического подхода, освещение важных и значимых событий; 2) установление причинно-следственных связей между историческими фактами; 3) характеристика правителей, их внутренней политики; 4) освещение внешнеполитической деятельности царей; 5) характеристика важнейших законов русского государства, а также эволюции государственной системы; 6) описание нравов и обычаев россиян. Несмотря на продолжающееся господство «прагматического» подхода к истории и провозглашенную автором воспитательную задачу – показать «добрые примеры» и «полезные и нужные правила», – заметка показывает утверждение нового понимания истории. Историк не просто отражает факты, но исследует их. Раздел известий о новых книгах имел и журнал «Санкт-Петербургские ученые ведомости» (издатель – Н.И. Новиков). В одном из номеров он поместил требования к публикации древних рукописей: 1) составление алфавитного каталога к каждой части издания; 2) помимо летоисчисления от сотворения мира, приводить датировку от рождества Христова; 3) не изменять древнее правописание, печатать документ строго по подлиннику; 4) обязательно указывать название и местонахождение подлинника [Там же. С. 28], что явно свидетельствовало о новом отношении к документу.

О том, что происходило теоретическое переосмысление исторической области знания, говорят попытки охарактеризовать новую науку, выявить ее «сильные» и «слабые» стороны. Такая работа была проделана Н.И. Новиковым, часть ее опубликована на страницах журнала. Мыслитель выделил два этапа в развитии исторической науки: 1) этап создания монументальных исторических сочинений, определение главных тем и проблем исторической науки, 2) издательская деятельность, сохранение и

популяризация источников, выработка методов работы с ними [Санкт-Петербургские ведомости. 1778. Июль. С. 53-54].

Таким образом, уже на начальном этапе существования исторической науки можно говорить о существовании довольно широкого круга научных проблем: публикация источников, популяризация исторических знаний, изучение летописей, отделение древнего текста от более позднего, определение авторства, сравнение отечественных и иностранных источников.

В. В. Тихонов (ИРИ РАН, РГГУ, МГОУ, Москва)

Нормы этики в сообществе российских историков конца XIX – начала XX в. (к постановке проблемы)

К началу XX в. сложилось сообщество профессиональных российских историков. Наличие нескольких научно-образовательных центров (Московский, Санкт-Петербургский, Киевский, Харьковский и др. университеты, Академия наук), система специализированной периодики, научные общества – все это говорило об успешном развитии исторической науки. Но формальными показателями дело не ограничивалось. Наряду с этим в среде историков распространялись собственные негласные традиции общения, повседневного времяпрепровождения, субординации, профессиональных этических норм. Эта неформальная сторона жизни корпорации до сих пор слабо изучена, многие проблемы тяжело поддаются исследованию из-за фрагментарной источниковой базы, большую часть которой составляют письма, дневники и мемуары. Тем не менее, интерес к данной проблематике заметно вырос, сформировав пока небольшое, но уже устойчивое направление в историографических исследованиях.

В данном случае этические нормы – это свод негласных правил поведения, следование которым становилось необходимым атрибутом принадлежности к определенной группе. Очевидно, что этические нормы историков во многом были схожи с правилами, выработанными российским ученым сословием в целом. В то же время круг профессиональных интересов неизбежно накладывал свой отпечаток. Условно этические нормы можно разделить на несколько больших групп: 1) общецивилизационные; 2) общенаучные и 3) профессиональные. Последние и определяли специфику историков.

Контроль над научной работой в дореволюционной России осуществлялся в значительной степени силами самих ученых. Именно университетские советы решали: достоин ли соискатель степени. Защита диссертации становилась событием в научном мире, а текст придирчиво оценивался специалистами, требования к качеству было чрезвычайно высокими. Тем суровее оказывалась реакция на попытки защиты низкопробной продукции. Еще одним важным условием было «честное» написание исследования. Показателен случай с киевским историком Е.Д. Сташевским, который попался на том, что крал из московского архива документы. Неформальное расследование велось силами московских историков и архивистов несколько лет. Когда подозрения были подкреплены доказательствами, научно-историческое сообщество среагировало незамедлительно. Немаловажно и то, что в среде историков сложился буквально культ исторического источника, поэтому такое отношение к ценнейшим архивным документам воспринималось как кощунство. Нечистоплотный исследователь был подвергнут остракизму московскими и петербургскими коллегами, всякие отношения с ним разорвали многие маститые ученые. Тем не менее, в 1914 г. Сташевский защитил диссертацию в Киевском университете. Ее низкое качество стало причиной скандала.

Большое значение придавалось тому, чтобы избежать в оценке диссертаций излишнего субъективизма. Нормы этики требовали беспристрастной экспертизы. Так, в 1902 г. Е.Н. Щепкин готовился защищать диссертацию. Рукопись попала к известному историку Р.Ю. Випперу, который в устной форме дал ей низкую оценку. Поскольку даже неформальный, незафиксированный отзыв играл важную роль в судьбе работы, то защита могла вообще оказаться под угрозой срыва. Вскоре выяснилось, что Виппер прочитал только самое начало исследования, а его негативное отношение объяснялось тем, что историки расходились методологически. Узнав это, В.И. Герье использовал весь свой авторитет для того, чтобы помочь Щепкину защититься.

Но нередко на передний план выходила не общенаучная, а корпоративная этика. Причем каждый зачастую понимал ее по-своему. В крупнейших университетах сложился тесный круг сотрудников, продолжателей местных научных традиций. Так сложились московская, петербургская и киевская школы. Доступ в эти корпорации был весьма затруднен для посторонних. Особенно это заметно было в Московском университете. Например, после того, как в 1911 г. многие преподаватели покинули университет в

знак протеста против политики министра народного просвещения Л.А. Кассо, М.М. Богословский, оставшийся работать и возглавивший кафедру, мотивировал это тем, что он стремится сохранить традиции школы В.О. Ключевского, не оставить кафедру русской истории «какому-нибудь Довнар-Запольскому». Тот же Богословский выступил резко против присуждения С.Б. Веселовскому докторской степени за фундаментальную монографию «Сошное письмо», минуя магистерской. Свою позицию он объяснил, помимо всего прочего, и тем, что Веселовский чужак, юрист, а не историк. Решение в пользу Веселовского ущемило бы интересы местных историков. «Я считаю книгу Веселовского полную недостатков и не вижу решительно причин проводить ее с отступлением от обычного порядка, т. е. без диспутов. Кроме того, такое отношение было бы несправедливым по отношению к нашим. Почему же мы Д.Н. Егорова и [А.И.] Яковлева, представивших по две книги, подвергали и будем подвергать диспутационным мытарствам» [Богословский М.М. Дневники 1913-1919. М., 2010. С. 240], – задавался он вопросом. Заметим, что такое понимание Богословским корпоративной этики вызвало протест и осуждение у многих его коллег.

Серьезной проблемой для сообщества историков стала выработка единого отношения к политическим проблемам. Размежевание по партийному принципу было весьма серьезным, многие историков активно участвовали в политической жизни. Тем не менее, существовала группа историков, которые считали, что политике не место в университете. К ним относились представители разных школ: А.С. Лаппо-Данилевский, М.К. Любавский, М.М. Богословский и др. Они стремились всячески разграничить науку и политику. Этической дилеммой было и сотрудничество с действующими властями. Она также решалась индивидуально, на основе личного выбора.

Описанные выше случаи показывают, что негласные устои часто нарушались. Но они же свидетельствуют и о том, насколько был силен неформальный контроль за их соблюдением. Именно сплоченность корпорации в сохранении устоев, традиций, этических норм, контроль над качеством исследований позволяли поддерживать общественный авторитет российских историков на высочайшем уровне.

Ш.С. Хамматов (Казанский национальный исследовательский технологический университет)

Меморизация истории: памятник Александру II в Казани

Одним из перспективных и актуальных направлений современных исторических исследований является изучение «локальной (местной) истории». Под «локальной историей», «историей места» можно понимать как историю отдельной страны, народа, составляющую часть всеобщей истории, так и историю отдельно взятого региона, города, района. Локальная история позволяет составить коллективную биографию локальной общности любого уровня от семьи до страны. При этом «история снизу» подходит к изучению локального сообщества через историю отдельных личностей его составляющих.

Современная ситуация развития исторической науки характеризуется возросшим интересом к проблемам повседневной истории. История повседневного, или повседневности – направление в историографии, которое имеет дело не с великими событиями и выдающимися личностями, а с теми сюжетами, которые традиционные историки пропускали как несущественные. К их числу относится одно из событий в истории Казани, которое в силу идеологических установок впоследствии было вычеркнуто из числа важных – сооружение и открытие памятника императору Александру II.

После гибели Александра II во многих крупных городах Российской империи было решено увековечить память императора. Казань не осталась в стороне. Постановление Казанской городской думы о сооружении памятника Царю-Освободителю было принято в апреле 1881 г. Предполагалось, что это будет сделано на добровольные пожертвования жителей города, причем также приглашались к подписке городские и сельские жители всей Казанской губернии [НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 228. Л. 1]. Помимо этого на гробницу Александра II был возложен серебряный венок от всех общественных и сословных учреждений Казанской губернии и была поднесена икона Казанской Божьей Матери в церковь, которую предполагалось поставить на месте покушения (Собор Воскресения Христова на Крови).

Сбор средств шел медленно. К 1884 г. было собрано 5906 рублей, но через 4 года сумма почти не увеличилась. Благодаря деятельности нового городского головы С.В. Дьяченко были приняты меры, позволившие ускорить сбор средств. Городская дума обратилась к губернским и уездным земским собраниям Казанской губернии, а управа разослала подписные листы лицам, которые могли способствовать подписке, и вскоре сумма возросла

до 34 тысяч рублей. Создается комитет по сооружению памятника Александру II в составе С.В. Дьяченко, Н.Е. Баратынского, А.Ф. Докучаева, В.Н. Заусайлова, Н.А. Осокина, П.М. Останкова, В.М. Соломина. Тогда же был объявлен конкурс проектов памятника. Условия следующие: ценность – от 25 до 30 тысяч рублей; размещение на площади средних размеров; вид – на полное усмотрение автора. Кроме того, были назначены премии: за 1-е место – 500 рублей, за 2-е – 150 [НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 2412. Л. 72].

К 1 января 1890 г., дате окончания конкурса, поступило 13 проектов памятника, из которых голоса получили 8: за проект, обозначенный девизом «Великому», на выставке-конкурсе проголосовало 227 человек, за проект «Слава» – 166, «Царю-Благодетелю» – 13, «Орион» – 6, «Русь» – 6, «Ум хорошо, а 2 лучше» – 5, «Где рука, тут и голова» – 2, проект Шредера – 2. В каждом предложенном проекте авторы стремились отразить положительные стороны правления Александра II, но везде доминировала идея «Царя-освободителя», отменившего крепостное право. По-своему интересен один из первых присланных проектов военного врача Михаила Залуговского из Твери. Сам памятник достаточно скромен, значительная часть отведена кресту с портретом Александра II в овале. От него ниспадали «...как лучи от светильника...» хартии, заключавшие в себе манифесты, указы (освобождение крестьян, гласный суд, университетский устав, отмена телесных наказаний и др.). А вместе с памятником должна была открыться хирургическая больница (устав учреждения прилагался) [НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 2412. Л. 4]. Проекты, получившие больше всех голосов, были составлены академиком Владимиром Иосифовичем Шервудом. Особенно полно история царствования императора была представлена в проекте «Слава». Пьедестал, увенчанный колоссальным бюстом Александра II, был украшен четырьмя фигурами, характеризующими основные черты его деяний. «Царь-освободитель» представлен фигурой молящегося крестьянина с грамотой с надписью «19 февраля 1861 г.» в руке, «Царь-просветитель» – мудрецом, указывающим на раскрытую книгу, «Царь-законодатель» – фигурой России, благоговейщей перед «уложением Александра II», «Царь-преобразователь» – фигурами крестьянина и интеллигента, держащих одно знамя и обнаживших меч в его защиту. Они символизировали уравнение сословий в правах и обязанностях, что считалось существенной чертой преобразований Александра II. Проект «Великому» предусматривал более скромный пьедестал, украшенный

досками с надписями великих деяний императора, но с фигурой в полный рост. Совместить статую и роскошный постамент было невозможно из-за ограниченности средств [НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 2412. Л. 23].

Прием аллегии, пожалуй, был главным для выражения замысла – представить деяния царя-освободителя. Так, в проектах провизора Л.О. Ольшевского, гатчинского художника Х.К. Васильева представлены скульптуры, символизирующие, например, русско-турецкую войну 1877-1878 гг. (фигура Славянина), отмену крепостного права (фигура крестьянина, с шеи которой Александр II снимает ярмо), отмену телесных наказаний (сломанные клеймо и плеть). В проекте «Русь» избранные атрибуты правления, опять же символизирующие отмену крепостного права, гласное судопроизводство, народное образование, всеобщую воинскую повинность и защиту славян: группа, изображающая народное образование, колонна с державой и скипетром, обозначающая судебную реформу 1864 г., фигура Геня, держащего свиток Манифеста 19 февраля 1861 г., и Воина с царским знаменем, олицетворяющего защиту славян [Там же. Л. 12-16].

Комитет по сооружению памятника Александру II признал наиболее удачными проекты «Великому» и «Слава», окончательно остановив выбор на первом. В качестве экспертов были привлечены видные казанские архитекторы Л.К. Хрцонович, И.Г. Невинский, М.Н. Литвинов, П.Т. Жуковский, П.Е. Аникин, выбравшие место для постановки памятника на Ивановской площади. Вторую премию получил проект «ЧВ» авторами, которого были академик М.А. Чижов и член Петербургского общества архитекторов Х.К. Васильев [Там же. Л. 65].

Памятник был готов в 1894 г., и торжественное открытие предполагалось провести 22 октября, но в связи со смертью 20 октября императора Александра III было отложено. Открытие памятника состоялось 30 августа 1895 года. Общая стоимость памятника вылилась в сумму 43 856 рублей [См.: Загоскин Н.П. Спутник по Казани. Казань, 1895. С. 591].

А.В. Хряков (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

**«Потерянное поколение»? Немецкие историки 20-40-х гг. XX в.
о теории и практике исторической науки**

Устойчивое словосочетание «потерянное поколение» с легкой руки писателей 20-30-х гг. XX в. и прежде всего Хемингуэя и Ремарка прочно закрепилось за теми, кто на себе испытал все тяготы Первой мировой войны, но не смог найти собственного призвания в мирное послевоенное время. Как представляется, данная характеристика не соответствует положению и самосознанию немецких историков 20-40-х гг. XX в. Первая мировая война стала своего рода границей между тремя поколениями немецких историков, определявших развитие историографии Германии на протяжении почти всего XX в. Родившихся задолго до августа 1914 г. можно отнести к «имперскому поколению», чье формирование как историков пришлось на первые годы существования Германской империи, созданной Бисмарком в ходе победоносных войн 60-70-х гг. XIX в. (О. Хинце, Ф. Мейнеке, Э. Трельч, Г. Онкен). По своему возрасту они не подлежали мобилизации, но, пережив в своей молодости рождение государства из «духа войны», они сделали его главным предметом своего изучения. Первую мировую они в большинстве своем восприняли как очередной этап на пути к объединению Германии (как когда-то войны с Францией 1813 и 1870 гг.), в ходе которого немецкая «культура», противостоя западной, прежде всего английской и французской «цивилизации», приобретет статус мировой державы. Но так как эта война была для них скорее историей, чем памятью, то поражение в ней, в большинстве своем они приняли стоически, признав и его, и все то, что за этим последовало, и прежде всего Веймарскую республику.

В отличие от имперского, «поколение 1914 года» в полной мере почувствовало на себе все тяготы войны (К.А. фон Мюллер, Э. Канторович, Г. Ритгер, Г. Аубин, Г. Ротфельс). Большая его часть добровольно ушла на фронт уже в первые месяцы войны, подталкиваемая патриотической эйфорией и ожиданием скорой победы и потому для них поражение в войне стало поистине катастрофическим. В отличие от старшего поколения они так и не смогли расстаться с памятью о фронтовом братстве и сделать свои переживания историей.

Поколение историков, родившихся в начале века (Г. Геймпель, Г. Франц, Т. Шидер, В. Конце) и заставших войну лишь в юношеском возрасте целиком и полностью находилось во власти старших, занимаая в организационной структуре науки к началу 1930-х гг. маргинальное положение. Благодаря этому, они выработали собственное отношение к «миру отцов» – в основе своей радикальное и непримиримое. Их менталитет был

сформирован не столько фронтовыми переживаниями, сколько осознанием поражения в войне. От старших поколений они отличались отсутствием даже малейшего намека на шпенглеровский пессимизм и благородным стремлением к действию. Но наряду с этими лучшими качествами в них присутствовали максимализм, скоропалительность мнений, нетерпимость к оппонентам, и именно эти качества стали наиболее востребованы в послевоенной Германии.

Но, несмотря на столь существенные от представителей старших поколений, более молодые историки (как воевавшие, так и нет) воспринимали себя как единую группу с общим мировоззрением, определенным комплексом идей и убеждений, сформировавшихся не столько под влиянием общности полученного образования и высокого социального статуса, сколько благодаря осознанию собственной исключительности и высшего призвания стоять на страже немецкой культуры, государства и общества. Первая мировая война, а также последовавший за ней крах Германской империи лишь укрепили их уверенность в осознании собственной значимости. И в данном случае историки выступают не просто как «современники» происходящих общественно-политических изменений. Науку вообще и историю в частности можно рассматривать как открытую, динамично развивающуюся систему, которая не только реагирует на внешние по отношению к ней раздражители, но и сама способна становиться активным участником событий. Не случайно, что, несмотря на определенную «теоретико-методологическую летаргию», свойственную немецкой историографии данного периода самым обсуждаемым был вопрос о задачах исторической науки и ее роли для общества.

Немецкие историки не просто призывали, они требовали политизации исторической науки, стремясь всеми силами связать научные претензии с политическим стремлением. И роль обыкновенных статистов их никак не устраивала. Историки Германии не могли представить себя вне тех перемен, что произошли в их стране, стремясь не только зафиксировать, но и принять в них активное участие, сделав свои, во многом иррациональные и аффективные устремления, общезначимыми. «Мы ученые, заявил немецкий медиевист Герман Геймпель после прихода Гитлера к власти, не являемся декораторами, которые вслед за строителями с помощью отделки делают дом немного красивее... Скорее всего мы возводим его заново. Мы строим в наших сердцах из надежных камней беспощадного правдолюбия прошлую, настоящую, будущую Германию». Тогда же известный

специалист по этнической истории немцев Эрих Кейзер так определил вектор развития исторической науки: «Вероятно, в будущем останутся лишь политические историки, но не в устаревшем смысле, что каждый историк исключительно или по преимуществу будет заниматься государственной историей, но в том смысле, что он везде и всегда будет ориентировать свое исследование и свое преподавание на политические потребности своего народа». Наука должна соответствующим образом служить национально-политическим интересам, причем это является ее обязанностью и родовой сущностью.

Сказанное выше абсолютно не означает, что наука является служанкой политики и обязана исполнять все ее требования. Слишком сильное внешнее вмешательство в научные исследования являлось для историков, приверженных классическому ранкеанскому идеалу науки, «политически вредным». Но подобного рода заявления ни в коем случае нельзя воспринимать как оппозицию по отношению к политической власти, как выражение политического несогласия или сопротивления. Это лишь следствие различного понимания роли науки вообще и истории в частности в достижении общих национально-политических целей. Так, по мнению остфоршера Германа Аубина, наука должна иметь возможность «серьезно заниматься определенными вещами». Только тогда она сможет внести свой вклад в достижение национальных интересов. Чтобы противостоять претензиям западно- и восточноевропейских государств, прежде всего в территориальных спорах, аргументы немецкой стороны обязаны быть объективными и исторически обоснованными, ибо лишь научные доказательства будут восприняты международным сообществом как убедительные.

Историки Германии не понимали, что подобное понимание взаимоотношений науки и политики, когда с одной стороны, историк стремится исполнять поставленные народом и государством задачи, а с другой, надеется на сохранение автономии и заявляет о служении интересам науки, является наивным и утопичным, но это дилемма всей немецкой историографии первой половины прошлого века, ставшей инструментом политической борьбы. Стремясь быть «духовным оружием», наука теряет свою автономию перед актуальными политическими запросами современности – этого немецкие историки не осознавали.

З.А. Чеканцева (ИВИ РАН, Москва)

«Политика памяти» и моделирование истории

П. Нора, выступая в ИВИ РАН в январе 2010 г., сказал: «С 1970-х по 1990-е гг. мы стали свидетелями удивительного расширения и даже революции в историческом сознании и познании ... Память придала истории новый импульс, обновила подходы к прошлому и проникла во все периоды и отрасли исследования». Из этой революции историческая наука вышла радикально обновленной. Она говорит на другом языке и служит теперь не столько государству-нации, сколько обществу и культуре. Более того, сегодня она все активнее пересекает национальные границы, пытается создать новую «всеобщую» историю Европы и мира, свободную от европоцентризма и способную выдержать испытание на «истинность» на «формирующемся рынке мировой памяти» (П. Гарсия). Есть основания полагать, что это более зрелая наука, соответствующая сложности современного мира и постоянно возрастающей трудности совместного проживания людей.

Историки довольно поздно обратили внимание на феномен памяти, но именно они показали, что за последние несколько веков во взаимоотношениях истории и памяти произошли значительные перемены. Схематично вехи этих перемен можно представить следующим образом:

В Средние века – история подчинена памяти: занятия историей в то время были включены в мнемонические практики.

В XIX веке – история стала научной дисциплиной и институтом, находящемся на службе государства-нации. Такая история считалась носителем единственной исторической «правды» и в таком качестве она подмяла под себя память. В этой модели истории «чистое» знание о прошлом и всегда «нечистая» память считались несовместимыми.

В XX в., в ходе которого память постепенно стала втягиваться в историописание, родилась другая модель истории. Историков, работающих в русле этой модели, интересует не столько ушедшее гомогенное прошлое, сколько прошлое, изломанное памятью, которая оттеняется в прерывностях истории; «не столько генезис, сколько дешифровка того, кем мы больше не являемся». В современных способах написания истории, учитывающих субъективность историка, на первом плане оказывается историография как практика, позволяющая удовлетворить потребность в историческом познании и вместе с тем избежать ловушек наивного реализма по отношению к тому, что познается.

В этой модели истории главной единицей анализа

«прошлого» является «факт коммуникации», оформленный как «высказывание» и помещенный в поле общения. Наряду с содержательным и формальным анализом исторического «высказывания», историки исследуют восприятие и воздействие такого высказывания (в эпистемологии это явление получило название прагматического поворота). Например, одно дело рассказать историю строительства Храма Христа Спасителя в Москве (построен при Александре I, разрушен в 1931 г., восстановлен при Ельцине) и совсем другое – показать его как символическое место национальной памяти, выявляя, как воспринимали связанные с храмом события его строители/разрушители/восстановители, и то, как их воспринимают сегодня разные социальные группы. В ходе такого изучения, помимо прочего, выясняется, что исторический материал в реальной жизни является одновременно и научным и эмоциональным аргументом. И именно это обстоятельство объясняет политическую эффективность/неэффективность использования «прошлого».

Интеллектуальные историки убедительно показали, что политика присутствует во всех моделях истории. Разница заключается в том, что в новой модели историки, осознавшие конструктивистскую природу социального познания, более изобретательно изучают связи исторического/мемориального и политического в междисциплинарном режиме. Они перестали считать себя носителями единственно верной интерпретации: плюралистическое видение истории в этой модели – норма. Более того, произошло радикальное «уравнивание в правах» собственно научного, «высокого» знания и «знания», находящегося за пределами науки, причем не только в относительно престижных сферах философии, теологии, искусства, но и в царстве обыденного «общего смысла», с которым в традиционной исторической модели не очень считались.

В гуманитарном дискурсе нашей страны тема памяти присутствует. Идет большая теоретическая работа, связанная с осмыслением взаимоотношений в триаде история/память/политика. Но в современной России все еще доминирует традиционная модель истории, утвердившаяся в XIX в. Также как и в советское время, память об исторических событиях скорее служит легитимации политического режима, нежели имеет непосредственное отношение к истории. Контроль над прошлым остается необходимым условием контроля над настоящим.

Во Франции уже в период глубокого мировоззренческого кризиса между двумя мировыми войнами историки постепенно

стали отходить от представлений об истории как способе легитимации государства-нации и обратили внимание на общество. Изучая ментальности, т.е. присутствующей в жизни любого социума «эфир», который формируется в повседневной практике людей и одновременно формирует эту практику, они осознали необходимость пересмотреть взаимоотношения памяти и истории. Особенно важную роль здесь сыграло изучение коммеморативных практик, праздников, ритуалов, церемоний, образов, представлений и пр. Вскоре они поняли, что память вездесуща, она повсюду, и ее изучение может быть полезно в процессе выявления и артикулирования связей между культурным, социальным, политическим, между представлениями и социальным опытом.

Начиная со второй половины 70-х гг. память становится важнейшим объектом исторического исследования. Все больше внимания историки стали уделять проблемам риторики. Их интересовала, в частности, способность языка формулировать идеи, а также то, каким образом риторические формы могут использоваться в политике. Изучая историю коммемораций, они стремились показать, как использовали коммеморативные ритуалы и памятники те, кто этим занимался. Другими словами, историки интересовались памятью как средством мобилизации политической власти и пытались понять риторику и природу пропаганды. Постепенно стало ясно, что работа с памятью, ее историзация обогащает усилия историков по осмыслению прошлого. Возникли представления об альтернативных возможностях толкования истории. Под сомнение был поставлен европоцентризм (историки открыли другие миры), усложнилось понимание наследия.

Осмысливая память как важный инструмент социальной связи, историки стали пристально вглядываться в традиции изучения истории. Историческая профессия осознала необходимость исследования того, что Хальбвах назвал исторической памятью. Родилась история историков, т.е. историография, понимаемая не как «идеологическое оружие» (так было в Советском Союзе), но как историческая эпистемология, занимающаяся исследованием природы и процедур «историографической операции». Важным объектом интеллектуальной истории стала «политика памяти», понятая как власть стереотипов мышления, воздействующих на настоящее. Другими словами историки убедительно показали властную природу историографических концептуализаций.

Такое понимание «политики памяти» чаще всего игнорируется перед лицом другой политики, подразумевающей стратегию использования образов прошлого в настоящем и их включение в планы будущего. Разумеется, «политика памяти», связанная с политической стратегией, тоже существует, и ее надо учитывать. Ее воплощением, в частности, является так называемая «официальная история», существующая в большинстве стран.

К.И. Шнейдер (Пермский ГУ)

Борьба за историю в середине XIX в.: полемика вокруг исторических взглядов ранних русских либералов

Несомненной релевантностью для объяснения феномена раннего русского либерализма середины XIX в. обладают дискуссии его представителей с радикальными и консервативными критиками. Накануне Великих реформ в поле производства идей несложно заметить открытую конкуренцию между различными направлениями отечественной общественной мысли в процессе социального конструирования модели ближайшего национального будущего. Основной площадкой развернувшейся полемики стала периодическая печать, а главным призом – участие в подготовительном этапе предстоящих преобразований в качестве экспертов и разработчиков.

Демократическая критика начального русского либерализма представлена двумя журналами – «Современник» и «Отечественные записки». В них авторы многочисленных полемических материалов сосредоточили внимание на обсуждении таких тем, как либеральная историософия с ее ярко выраженным этатизмом, снобизм адептов «чистого искусства» по отношению к окружающей действительности и преимущества крестьянского общинного управления перед перспективой его разрушения. Следует отметить устремленность критической волны «слева» на Б.Н. Чичерина, что, вероятно, связано с ростом конкурентной напряженности в поле производства идей в период либерализации второй половины 1850-х гг. накануне Великих реформ.

Дискуссия о судьбе крестьянской общины в России расколола отечественную либеральную среду на сторонников сохранения ее в обозримом будущем и противников старых форм хозяйствования на земле. В данном вопросе «левые» вполне солидаризировались с позицией К.Д. Кавелина и части

либералов, озабоченных социально-экономическими последствиями исчезновения общинных порядков, как для землевладельцев, так и для земледельцев. Журнал «Современник» в 1858 г. даже опубликовал извлечение из знаменитой «Записки об освобождении крестьян» Кавелина. Возникший своеобразный либерально-демократический консенсус опирался, в том числе, на идею сосуществования общины и ростков нового частного владения фермерского типа, что, гипотетически, не только могло обеспечить плавный переход к чему-то новому в деревне, но и обезопасить от массового разорения дворян, а самое главное, от пролетаризации крестьянства.

Еще одной областью критики «слева» раннего русского либерализма являлась эстетика, а точнее, приверженность многих либералов концепции «чистого искусства». Демократическая критика предлагала дидактический подход к интерпретации эстетических проблем в противовес либеральным установкам «чистого искусства». Позиции «левых» опирались на идеи Н.Г. Чернышевского, пытавшегося создать своего рода «позитивную эстетику». Полемика столкнула антропологический подход к эстетике, являвшийся частью идеалистической картины мира ранних русских либералов с философским реализмом демократов, характерным для их восприятия прекрасного.

Не менее жесткой была критика российских либералов «справа», где, в первую очередь, располагались славянофильствующие и традиционалистские оппоненты, выступавшие на страницах журналов «Москвитянин» и «Русская беседа». Авторы обращались к теме народности в науке и неприемлемости западного опыта изучения прошлого, особенностям русской общины и «слабым» местам либеральной исторической концепции. Традиционно главным персонажем критических заявлений являлся Чичерин, по разным причинам раздражавший не только «левых», но и «правых» рецензентов.

«Правые» отказывались верить в либеральную версию организации современного общинного миропорядка «сверху» правительственными мерами начиная с рубежа XVI и XVII в. и доказывали его изначальную историческую укорененность в народной жизни. Эмоциональный накал дискуссии, скорее всего, связан с фактом несанкционированного вторжения либералов в консервативный сегмент поля производства идей, исторически ответственный за генерацию канонических образов сельского мира. Это само по себе воспринималось как покушение на общепризнанную традицию, грозившее самыми

непредсказуемыми последствиями. Кроме того во второй половине 1850-х гг. именно крестьянская тема стремительно актуализировалась и «правые» не желали отдавать ее на откуп интеллектуалам из демократической и либеральной среды.

В тесной связке с общинной обсуждались проблемы народности и так называемого «русского воззрения» в науке. Теоретический спор об этом между либералами и их оппонентами «справа» в 1856–1858 гг. вылился в серию статей в «Русском вестнике», «Атенее», «Московских ведомостях», с одной стороны, и «Русской беседе», «Москвитянине» – с другой. Национальная составляющая в ее вульгарно антропологическом варианте привлекала консервативных экспертов в области истории знания.

Консервативных критиков всерьез раздражал европоцентризм ранних русских либералов, и они настойчиво поднимали тему народности в науке для обсуждения проблемы подражания Западу. В то время как Чичерин в ходе полемики артикулировал идеи непредвзятости ученого, его максимальной дистанцированности от массива собранных фактов и общей судьбы научного знания для всех народов, «правые» предлагали проверять любые теоретические умозаключения силой их соответствия народному восприятию. При этом наиболее профессиональные консервативные эксперты не забывали ссылаться на необходимость преодолеть не только пагубные пристрастия ко всему иностранному, но и узость местнической исключительности.

В полемике с либералами по вопросу о так называемом «русском воззрении» и народности в науке «правые» исходили из тезиса о позитивном, подлинно самостоятельном развитии России в допетровскую эпоху, которая разрушила и переопределила национальную судьбу, поставив ее в зависимость от подражания западным образцам. Вектор их критических выступлений был направлен на защиту привилегий самобытности, признававшей единственным источником формирования общечеловеческого гуманитарного арсенала. Ранний русский либерализм, напротив, ориентировался на периферийную адаптацию очевидных достижений канонической европейской традиции, являвшейся для либеральных мыслителей своего рода квинтэссенцией социальной мудрости. Таким образом, если одни предлагали двигаться от многообразия частных проявлений к абстрактному идеалу, то другие предпочитали сосредоточиться на перспективах изучения доминирующего в истории социокультурного опыта.

Критику «справа» раннего русского либерализма во второй половине 1850-х гг. можно считать продолжением известной

полемики между западниками и славянофилами. Однако проходила она уже в начальный период подготовки Великих реформ, когда либеральные и консервативные оппоненты неизбежно стремились привлечь к себе внимание верховной власти, предложив ей свой концептуальный проект будущего развития общества. В конечном счете, новая редакция старой дискуссии стала важной частью борьбы соперничающих сторон за символический капитал аутентичной трактовки национальных интересов и, возможно, способствовала корректировке содержания раннелиберального дискурса в консервативном направлении.